

Удушье

Автор:

Чак Паланик

Удушье

Чак Паланик

Книга о молодом мошеннике, который каждодневно разыгрывает в дорогих ресторанах приступы удушья – и зарабатывает на этом неплохие деньги...

Книга о сексоголиках, алкоголиках и шмоткаголиках. О любви, дружбе и философии. О сомнительном «втором пришествии» – и несомненной «невыносимой легкости бытия» наших дней.

Впрочем... сам Паланик говорит о ней: «Собираетесь прочесть? Зря!»

Короче – читайте на свой риск и страх!

Глава 1

Если вы собираетесь это читать, то не надо.

Все равно через пару страниц вам захочется отложить книжку. Так что лучше и не начинайте. Бросайте. Бросайте, пока не поздно.

Спасайтесь.

Посмотрите программу – по телевизору наверняка будет что-то поинтереснее. Или, если у вас столько свободного времени, запишитесь на вечерние курсы.

Выучитесь на врача. Сделайте из себя человека. Доставьте себе удовольствие – сходите поужинать в ресторанчик. Покрасьте волосы.

Годы идут, и никто из нас не молодеет.

То, о чем здесь написано, вам не понравится сразу. А дальше будет еще хуже.

Это – глупая история о глупом мальчишке. Глупая и правдивая история про придурка, с которым вы точно не стали бы знаться в реальной жизни. Вот он, истеричный маленький засранец, ростом вам где-то по пояс, с жиденькими светлыми волосенками, зачесанными на косой пробор. Вот он, мелкий гаденыш, – улыбается со старых школьных фотографий: молочных зубов кое-где не хватает, а нормальные зубы растут вкривь и вкось. Вон он, в своем идиотском свитере в синюю с желтым полоску: подарок на день рождения, когда-то – самый любимый. Ногти вечно обкусаны. Любимая обувь – кеды. Любимая еда – говенные корн-доги.[1 - Корн-доги – corn dogs, сосиски в тесте, типа классических хот-догов, поверхность которых имеет специфичный рельеф, напоминающий по форме початок кукурузы. Отсюда и пошло название этого блюда. Corn в переводе с английского – кукуруза. – Здесь и далее примеч. пер.]

Вот он, малолетний придурок, – в украденном школьном автобусе, с мамой, после обеда. Сидит на переднем сиденье, разумеется, не пристегнувшись. У их мотеля стоит полицейская машина, и мама гонит на скорости шестьдесят – семьдесят миль в час.

Это история про глупого маленького крысеныша, грубияна и плаксу, который – можете даже не сомневаться – был самым противным и гадким ребенком на свете.

Мелкий поганец.

Мама говорит:

– Нам надо спешить, – и они мчатся в гору по скользкой узкой дороге, задние колеса виляют по льду. В свете фар снег кажется синим. Синий снег – от обочины до темного леса.

И это все он виноват. Только он. Маленький раздолбай.

Мама останавливает автобус, чуть-чуть не доехав до подножия скалистой горы, и свет фар упирается прямо в белую плоскость, и она говорит:

– Дальше мы не поедem. – Слова вырываются белыми облаками пара, большими-большими, и сразу понятно, какие сильные у нее легкие.

Мама ставит автобус на ручной тормоз и говорит:

– Выходи, но пальто оставь здесь, в автобусе.

И вот этот маленький и безмозглый свинтус даже не возражает, когда мать ставит его прямо перед автобусом. Этот поддельный Бенедикт Арнольд в миниатюре[2 - Бенедикт Арнольд (1741–1801) – герой войны за независимость, американский генерал, ставший впоследствии предателем и изменником. В Америке его имя стало нарицательным именем изменника и предателя.] просто стоит на месте, в свете включенных фар, и дает матери снять с себя свитер. Любимый свитер. Этот маленький ябеда просто стоит полуголый в снегу, а мотор все гудит и гудит, и звук отражается эхом в скалах, а мама исчезла где-то у него за спиной – в холоде и темноте. Свет фар слепит глаза, и гул мотора перекрывает сухой скрежет деревьев, трущихся друг о друга ветками на ветру. Воздух такой холодный, что дышать можно только вполсилы; воздуха не хватает, и наш мелкий слизняк пытается дышать быстрее.

Он не убегает. Он вообще ничего не делает.

Мама говорит откуда-то из-за спины:

– Только не оборачивайся.

Мама рассказывает, что давным-давно, в Древней Греции, жила-была очень красивая девушка, дочь гончара.

Как всегда, когда мама выходит из тюрьмы и возвращается, чтобы забрать его, они постоянно в пути. Каждую ночь – в новом мотеле. Едят в придорожных закусовых и едут, едут и едут. Весь день, каждый день. Сегодня в обед

мальчик набросился на свой корн-дог, пока тот был еще слишком горячим, и проглотил его чуть ли не целиком, но корн-дог застрял в горле, и мальчик не мог ни дышать, ни говорить. Мама вскочила из-за стола и бросилась к нему.

Две руки обхватили его сзади, подняли над полом, и мама шептала:

– Дыши! Дыши, черт возьми!

Потом мальчик плакал, и весь ресторан собрался вокруг.

И вот тогда ему показалось, что им действительно не безразлично, что он чуть не умер. Все эти люди – они обнимали его, гладили по голове. Все его спрашивали: ты как, в порядке?

Казалось, что это продлится вечность. Все было так, как будто надо почти умереть, чтобы тебя полюбили. Как будто надо зависнуть на самом краю – чтобы спастись.

– Ну ладно, – сказала мама и вытерла рот, – получается, я подарила тебе жизнь, еще раз.

А потом официантка узнала его по фотографии на старом молочном пакете, и они с мамой поспешно ушли и вернулись обратно в отель, на скорости семьдесят миль в час.

По дороге они заехали в магазин, и мама купила баллончик черной краски.

И вот теперь – после всей этой бешеной гонки – они приехали непонятно куда, непонятно зачем, посреди ночи.

Глупенький маленький мальчик стоит в свете фар. Он слышит, как у него за спиной мама встряхивает баллончик с краской, круглый камушек внутри баллончика бьется о стенки, и мама рассказывает ему, что у той девушки из Древней Греции был возлюбленный.

– Но юноша был из другой стороны, и ему надо было вернуться домой, – говорит мама.

Раздается шипение, и мальчик чувствует запах краски. Мотор все гудит и гудит, теперь – громче, и автобус слегка покачивается, переваливаясь с шины на шину.

И вот в последнюю ночь, когда девушка и ее возлюбленный были вместе, говорит мама, девушка зажгла лампу и поставила ее так, чтобы тень юноши легла на стену.

Шипение краски идет с перерывами. Короткое шипение, пауза. Шипение подлиннее, и снова пауза.

И мама рассказывает, как девушка обвела на стене тень возлюбленного – чтобы у нее хоть что-то осталось от их любви. Память об этих последних мгновениях, когда они были вместе.

Наш плаксивый поганец просто стоит, щурясь на свет от фар. Глаза слезятся, но когда он их закрывает, он все равно видит сияющий свет – красный-красный – прямо сквозь сомкнутые веки, сквозь свою собственную плоть и кровь.

И мама рассказывает, что на следующий день возлюбленный уехал, но его тень осталась.

Лишь на секундочку мальчик оборачивается назад, где мама обводит по контуру его глупую тень на скале – только мальчик стоит далеко, и поэтому его тень получается на голову выше мамы. Его тонкие руки кажутся крепкими и большими. Короткие ноги вытянулись, стали длинными. Узкие плечики развернулись широко-широко.

И мама говорит ему:

– Не смотри. И не шевелись, а то все испортишь.

И вредный маленький сплетник опять поворачивается к свету фар.

Краска шипит, а мама рассказывает, что именно так изобрели живопись. До Древней Греции никакого искусства не было вообще. А потом отец девушки слепил из глины фигуру юноши, по модели контура на стене – и так изобрели скульптуру.

Мама говорит, очень серьезно:

- Искусство рождается только от горя. И никогда - от радости.

Именно так появились символы.

Мальчик стоит в свете фар, теперь его бьет озноб, но он старается не шевелиться, а мама делает свое дело и говорит, обращаясь к огромной тени, что когда-нибудь он научит людей всему, чему его научила она. Когда-нибудь он станет врачом и будет спасать людей. Возвращать им счастье. И даже кое-что лучше счастья: покой.

И все будут его уважать.

Когда-нибудь.

Это уже после того, как мальчик узнал, что Пасхального Зайца нет. Уже после Санта-Клауса, и Зубной Феи, и святого Кристофера, и законов Ньютона, и модели атома Нильса Бора - но этот глупенький-глупенький мальчик все еще верит маме.

Когда-нибудь, когда мальчик вырастет и станет большим, говорит мама тени, он вернется сюда, на это место, и увидит, что вырос точно до тех очертаний, какие она запланировала для него сегодня.

Голые руки мальчишки покрылись мурашками.

Он весь дрожит от холода.

И мама ему говорит:

- Не трясись, черт тебя побери. Стой спокойно, а то все испортишь.

И мальчик пытается убедить себя, что ему тепло, но свет фар - пусть и яркий - не дает никакого тепла.

– Мне нужна четкая линия, – говорит мама. – Если будешь дрожать, то все смажется.

И только потом, много лет спустя, когда этот маленький неудачник окончил с отличием колледж и поступил на медицинский факультет Университета Южной Каролины – когда ему было уже двадцать четыре и он учился на втором курсе, когда маме поставили диагноз и его назначили ее опекуном, – только тогда до него дошло, до этого маленького сопливого ябеда, что вырасти сильным, богатым и умным – это лишь первая половина в истории твоей жизни.

А сейчас у него ломит уши от холода. Голова кружится, дыхание учащено. Грудь покрылась мурашками. Соски затвердели от холода, как два красных прыща, и он говорит себе, этот мелкий слизняк: На самом деле, так мне и надо.

И мама ему говорит:

– Хотя бы стой прямо.

Он расправляет плечи и представляет, что свет от фар – это прожектор за спиной расстрельной команды. Воспаление легких – так ему и надо. Туберкулез – так ему и надо.

Смотри также: гипотермия.[3 - Гипотермия – общее охлаждение организма.]

Смотри также: брюшной тиф.

И мама ему говорит:

– Завтра меня уже рядом не будет.

Мотор крутится вхолостую, из выхлопной трубы вырывается синий дым.

И мама говорит:

– Поэтому стой спокойно и не выводи меня из себя, а то я точно тебя отшлепаю.

И уж конечно, этот маленький вредина заслужил, чтобы его отшлепали. Все, что с ним происходит, – это все справедливо. Так ему и надо, сопливному придурку, который действительно верит, что все обязательно станет лучше. Когда-нибудь в будущем. Если ты будешь упорно работать. Если ты будешь прилежно учиться. И быстро бегать. Все будет хорошо, и ты непременно чего-то добьешься.

Резкий порыв ветра – сухой и колючий снег обрушивается с деревьев. Снежинки колют уши и щеки. Снежинки тают между шнурками ботинок.

– Вот увидишь, – говорит мама, – это стоит того, чтобы немножечко пострадать.

Это будет история, которую он будет рассказывать своему сыну. Когда-нибудь.

Та девушка из Древней Греции, говорит мама, она больше не видела своего возлюбленного. Никогда.

И глупый мальчик действительно верит, что картина, скульптура или история и вправду способны заменить тебе человека, которого ты любишь.

И мама говорит:

– У тебя еще все впереди.

В это трудно поверить, но глупенький маленький мальчик – ленивый, смешной и нелепый – просто стоит и дрожит от холода, щурясь при свете фар, и ни капельки не сомневается, что у него все будет хорошо. Когда-нибудь в будущем. Он пока еще не понимает и поймет еще очень не скоро, что надежда – это просто очередной переходный период, который надо перерасти. Он верит, что это возможно – создать что-то такое, что останется на века.

Теперь при одном только воспоминании об этом он себя чувствует идиотом. Удивительно даже, как он прожил так долго.

Так что если вы собираетесь это читать, то не надо.

В этой истории не будет доброго, смелого, преданного героя. Герой этой истории – не тот человек, в которого можно влюбиться.

Просто для сведения: то, что вы собрались читать, – это жесткая и безжалостная история закоренелого наркомана. Потому что почти во всех реабилитационных программах, рассчитанных на двенадцать ступеней, четвертым пунктом стоит задание описать свою жизнь. Во всех подробностях. Каждый срыв, каждый проступок, каждая гадость, которую ты сотворил, – надо все это записывать. Полная опись твоих грехов. Таким образом, ты их как бы осознаешь. Для себя. И потом вроде как больше не повторяешь. По крайней мере пытаешься не повторить. Подобные программы существуют для алкоголиков, наркоманов, обжор и людей, страдающих секс-зависимостью. Одержимых сексом.

Таким образом, у вас всегда есть возможность вернуться в прошлое – к самым поганым моментам из вашей жизни.

Потому что считается: тот, кто не помнит своего прошлого, обречен повторять его вновь и вновь.

Так что, если вы все-таки это читаете... сказать по правде, это не вашего ума дело.

Тот глупый маленький мальчик, та холодная ночь, все это – очередная бредятина, чтобы было о чем подумать во время секса. Чтобы подольше не кончить. Ну, то есть если вы парень.

Тот мелкий засранец, которому мама сказала:

– Еще немножко, совсем чуть-чуть. Потерпи. Постарайся не двигаться. Постарайся, и все будет хорошо.

Как же.

Мама сказала:

– Когда-нибудь ты поймешь, что оно того стоило. Я обещаю.

И маленький глупенький дурачок, самый противный на свете мальчишка, просто стоял полуголый в снегу, и дрожал мелкой дрожью, и действительно верил, что кто-то и вправду может пообещать что-то настолько несбыточное.

Так что если вы думаете, будто вас это спасет...

Будто и вправду есть что-то, что вас спасет...

Это было последнее предупреждение.

Глава 2

Когда я добираюсь до церкви, на улице уже темно. Начинается дождь. Нико ждет у боковой двери, чтобы кто-нибудь ей открыл. Она зябко поеживается. На улице холодно.

– Вот, поддержи пока, – говорит она и сует мне в руку теплый комочек шелка.

Она говорит:

– У меня нет карманов.

На ней – короткое полупальто из поддельной оранжевой замши с ярко-оранжевым меховым воротником. Из-под пальто выбивается подол платья в цветочном узоре. Ноги голые, без колготок. Она поднимается по ступенькам, неловко ступая в своих черных туфлях на высоченных шпильках.

Тряпочка, которую она мне дала, теплая и влажная.

Это ее трусики. И она улыбается.

Внутри, за стеклянной дверью, какая-то женщина возит шваброй по полу. Нико стучит в стекло и показывает на часы у себя на руке. Женщина окунает швабру в ведро. Потом вытаскивает, отжимает, прислоняет к двери и лезет в карман за ключами. Отпирает нам дверь, кричит через стекло:

– Ваша группа сегодня в комнате 234. В классе воскресной школы.

Народ уже собирается. Подъезжают машины, люди поднимаются по ступеням. Я убираю трусики Нико в карман. Все с нами здороваются, мы здороваемся со всеми. Верьте или не верьте, но вы всех их знаете.

Эти люди – живые легенды. Все эти мужчины и женщины – вы про них слышали. Не могли не слышать.

В 1950-х одна ведущая компания по производству пылесосов внесла небольшое усовершенствование в дизайн. Они поместили в сосущий шланг маленький вращающийся пропеллер с остро заточенными лопастями – на расстоянии в несколько дюймов от края. Идея была такая: входящий воздух вращает пропеллер, и он разрезает нитки, собачью-кошачью шерсть и вообще всякий мусор, который может забить шланг.

Да, идея была неплохая.

А что из нее получилось? Многим из этих мужчин пришлось обращаться в травмопункт с покалеченным членом.

Во всяком случае, так говорят.

Или вот еще старая городская легенда про симпатичную домохозяйку, которой друзья и родные решили устроить сюрприз на день рождения. Они все потихонечку собрались в дальней комнате, а когда всей толпой завалились в гостиную с криками «С днем рождения!», они обнаружили, что виновница торжества лежит полуголая на диване, а собачка – любимица всей семьи – лижет ее между ног, где намазано арахисовым маслом...

Так вот, это было на самом деле.

Или та легендарная тетка, которая обожала делать парням минет, когда они за рулем, только однажды ее кавалер потерял управление и так резко вдарил по тормозам, что она откусила ему половину. Я лично знаю обоих.

Все эти мужчины и женщины – они все здесь.

Именно из-за них в каждом травмопункте среди хирургических инструментов обязательно есть дрель с алмазным сверлом. Чтобы просверливать дырки в толстых донышках стеклянных бутылок из-под шампанского или содовой. Потому что пока не просверлишь дырку, бутылку не вынуть – из-за давления.

Люди приходят в травмопункт среди ночи и заявляют, что оступились и упали прямо на кабачок, или на лампочку, или на куклу Барби, или на бильярдный шар, или на домашнюю крысу, которая так некстати подвернулась под ноги.

Смотри также: бильярдный кий.

Смотри также: плюшевый хомячок.

Они постоянно поскользываются в душе и садятся точнехонько задницей на густо смазанный жирным кремом бутылечек с шампунем. Вечно на них нападают на улице извращенцы-маньяки и насилуют их посредством свечей, бейсбольных мячей, сваренных вкрутую яиц, электрических фонариков и отверток, которые теперь надо вынуть. Я знаком с несколькими парнями, которые застревали в сливных отверстиях своих джакузи.

Уже в коридоре, на полпути к комнате 234, Нико отводит меня в сторонку – к стене. Дождается, пока мимо нас не пройдут какие-то люди, и говорит:

– Я знаю здесь одно место, куда можно пойти.

Все остальные заходят в класс воскресной школы, и Нико улыбается им вслед. Вертит пальцем у виска – международный жест, означающий «вот придурки», – и говорит:

– Неудачники.

Она тащит меня к двери, на которой написано «Ж».

Среди народа, который заходит сейчас в комнату 234, есть подложные врачи, которые любят подробно расспрашивать четырнадцатилетних школьниц о том, как выглядит их влагилице.

Есть среди них одна девушка из группы поддержки школьной спортивной команды, у которой однажды раздуло живот, и врачи выкачали из нее фунт спермы. Ее зовут Лу-Энн.

Парня, который, сидячи в кинотеатре, засунул член в дырку в коробке с попкорном, где оный член благополучно застрял, зовут Стив, и сейчас он сидит за разрисованной партой в классе воскресной школы, втиснув свою скорбную задницу в детский пластиковый стульчик.

Все эти люди, которых вы воспринимаете как анекдотических персонажей. Вам смешно? Ну так смейтесь.

Все они – самые настоящие сексуальные маньяки.

Все эти люди, которых вы воспринимаете как выдуманных героев, – они настоящие. У каждого есть лицо и имя. Семья и работа. Университетский диплом и досье арестов.

В женском туалете Нико тянет меня на холодный кафельный пол, присаживается надо мной на корточки и вынимает мое это самое из штанов. Свободной рукой она приподнимает мне голову и впивается губами мне в губы. Ее язык бьется у меня во рту. Большим пальцем она размазывает смазку по моей головке. Я уже возбужден и готов. Она стягивает мои джинсы на бедра. Приподнимает подол своего цветастого платья. Ее глаза закрыты, голова слегка запрокинута. Она садится на меня верхом и что-то шепчет, уткнувшись губами мне в шею.

Я говорю:

– Ты такая красивая.

Нико слегка отстраняется, пристально смотрит и говорит:

– И что это значит?

И я говорю:

– Я не знаю. Наверное, ничего, – говорю. – Забей.

Кафель пахнет дезинфицирующим раствором. Кафель шершавый и жесткий под моей голой задницей. Потолок тоже выложен кафелем. Вентиляционные решетки забиты пылью. От ржавого металлического контейнера для использованных салфеток пахнет несвежей кровью.

– А увольнительная у тебя с собой? – говорю я и щелкаю пальцами.

Нико слегка приподнимет бедра и опять опускается на меня, приподнимается и вновь опускается. Ее голова по-прежнему запрокинута, глаза по-прежнему закрыты. Она лезет за пазуху, достает сложенный листок голубой бумаги и роняет его мне на грудь.

Я говорю:

– Хорошая девочка, – и достаю ручку из кармана рубашки.

Нико приподнимается с каждым разом чуть выше и опускается жестче. Слегка раскачивается вперед-назад. Вверх-вниз, вверх-вниз.

– Развернись, – говорю я. – Развернись.

Она приоткрывает глаза и глядит на меня сверху вниз, я верчу ручкой в воздухе, как будто размешиваю сахар в кофе. Зернистый кафель врезается в спину даже сквозь рубашку.

– Развернись, – говорю. – Давай, детка.

Нико закрывает глаза и подбирает подол обеими руками. Потом переносит одну ногу у меня над животом, а вторую перебрасывает мне через ноги. Она по-прежнему сидит на мне верхом, но теперь спиной ко мне.

– Хорошо, – говорю я и разворачиваю голубой листок. Расправляю его у нее на спине и расписываюсь внизу, в графе «поручитель». Сквозь платье я чувствую, как выпирает застежка лифчика – эластичная полоска с пятью-шестью крошечными металлическими крючками. Я чувствую, как выпирают ее ребра –

сквозь толстый слой мускулатуры.

Прямо сейчас в комнате 234 сидит подружка кузена вашего лучшего друга, та самая девушка, которая чуть не умерла, удовлетворяя себя рычагом переключения передач в «форде пинто», когда наелась шпанской мушки. Ее зовут Менди.

И парень, который проник в гинекологическую больницу под видом доктора и затеял осмотр пациенток.

И мужик, который разъезжает по разным мотелям и по утрам притворяется спящим – голый поверх покрывала, – дожидаясь прихода горничной.

Все эти пресловутые приятели знакомых наших друзей... они все там.

Человек, покалеченный электрическим доильным аппаратом, – его зовут Говард.

Девушка, которая повесилась голой на перекладине для душевой занавески и едва не умерла от аутоэротической асфиксии, – это Пола, и она законченная сексоголичка.

Привет, Пола.

Дай мне свои подземные зонды. Свои проблесковые маяки.

Эксгибиционистка, полностью голая под плащом.

Мужики, которые устанавливают миниатюрные видеокамеры в толчках женских сортиров.

Парень, втирающий свою сперму в клапаны депозитных конвертов у банкоматов.

Вуайеристы. Нимфоманки. Похотливые старики. Онанисты.

Сексуальные маньяки-маньячки. Злые и страшные буки, которыми мамы пугали нас в детстве.

Мы все здесь. Живые и нездоровые.

Это мир сексуальной зависимости на двенадцать ступеней. Мир болезненного влечения. Вызывающего сексуального поведения. Каждый вечер они встречаются в задней комнате в какой-нибудь церкви. В конференц-зале в каком-нибудь общественном центре. В каждом городе. Каждый вечер. Они даже проводят виртуальные конференции в Интернете.

Мой лучший друг Денни – мы познакомились на собрании сексоголиков. Денни уже дошел до того состояния, когда ему было необходимо мастурбировать по пятнадцать минут ежедневно, чтобы не загнуться от сперматоксикоза. В конце концов он уже просто не мог сжимать руку в кулак и начал всерьез опасаться, что в перспективе ему может стать плохо от такого количества вазелина.

Он хотел перейти на какой-нибудь лосьон, но все средства для смягчения кожи в данном случае оказались неэффективны.

Денни и все эти люди, которых вы считаете извращенцами, или безумцами, или больными маньяками, – они все здесь. Мы собираемся, чтобы поговорить. У нас не много возможностей поговорить о себе откровенно.

Здесь – проститутки и заключенные, совершившие нетяжкие преступления на сексуальной почве, которых выпустили на три часа из тюрьмы. Бок о бок с женщинами, которые любят, когда их насилуют несколько человек сразу, и мужчинами, которые дрочат в книжных у стендов литературы «для взрослых». Уличные проститутки и их клиенты – все вместе. Здесь. Растлители малолетних и развращенные малолетние – вместе.

Нико приподнимает свою пышную белую задницу и резко опускается на меня. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Тугие стенки влагалища сжимают меня плотно-плотно. Вверх-вниз. Мышцы у нее на руках напрягаются все сильнее. Она держит меня за бедра. Бедра уже онемели и побелели.

– Теперь, когда мы с тобой уже знаем друг друга, – говорю я. – Нико? Я тебе нравлюсь?

Она оборачивается ко мне:

- Когда ты станешь врачом, ты сможешь выписывать рецепты на что угодно, да?

Ну да. Если только вернусь в институт. Медицинский диплом – вещь полезная. В плане – очень способствует многочисленным половым сношениям: девочки сами под тебя ложатся и еще очередь занимают. Я кладу руки на бедра Нико. Наверное, чтобы помогать ей приподниматься. Она кладет руки поверх моих рук. Пальцы у нее мягкие и прохладные.

Она говорит, не оглядываясь на меня:

- Мы тут с подружками поспорили, женат ты или нет. Они говорят, что, наверное, женат.

Я мну в руках ее гладкую белую задницу.

- И на сколько поспорили? – говорю.

И еще говорю, что подружки, возможно, правы.

Все дело в том, что мужчина, воспитанный матерью-одиночкой, женат уже от рождения. Я не знаю, как это объяснить, но пока твоя мать жива, тебе кажется, что все остальные женщины, которые появляются в твоей жизни, не могут быть чем-то большим, чем просто любовницы.

В современной интерпретации мифа об Эдипе, мать убивает отца и ложится с сыном.

И с матерью не разведешься.

И ее не убьешь.

И Нико говорит:

- Что ты имеешь в виду, все остальные женщины? Господи, о скольких идет речь? – Она говорит: – Хорошо, что мы пользуемся резинкой.

Для полного списка моих сексуальных партнерш мне надо свериться с записями для четвертой ступени. Со своей аморальной описью. Инвентаризацией. С полной историей моей одержимости – без купюр и цензуры.

Если только я ее закончу. Когда-нибудь.

Для всех этих людей, что собрались сейчас в комнате 234, работа по реабилитационной программе, рассчитанной на двенадцать ступеней, на собраниях сексоголиков – это действительно способ понять себя и излечиться... ну, в общем, вы понимаете.

Для меня это как курсы по повышению квалификации. Полезные советы. Новая техника. Руководство, как, где и с кем – и так, как ты даже мечтать не мог. Новые знакомства. Когда эти люди рассказывают про свою жизнь – это, черт возьми, великолепно. Плюс к тому сюда ходят девочки из тюрьмы, которых выпускают на три часа, чтобы они посетили сеансы групповой терапии для секс-зависимых.

Нико – одна из таких девчонок.

Вечер среды – это Нико. Вечер пятницы – Таня. Воскресные вечера – Лиза. Лиза вся желтая от никотина, она даже потеет жидким никотином. Она постоянно кашляет. И она такая худящая, что я почти могу сомкнуть руки у нее на талии. Таня вечно таскает с собой какие-нибудь сексуальные игрушки, как правило – дилдо или нитку латексных бусин. Сексуальный эквивалент сюрприза в коробке с овсяными хлопьями.

Я где-то читал, что красивая женщина – это радость навсегда. Но на своем собственном опыте я убедился, что даже самая распрекрасная женщина – это радость часа на три максимум. Потому что потом она непременно захочет тебе рассказать о своих детских травмах. Самое приятное в этих тюремных девчонках – это когда ты украдкой смотришь на часы и видишь, что уже через полчаса она вернется к себе в тюрьму.

Та же история про Золушку, только в полночь она превращается в преступницу, сбежавшую из тюрьмы.

Я не то чтобы не люблю этих женщин. Я их люблю – как любят красоток с разворотов неприличных журналов, порновидео, Интернет-сайты для взрослых. Для сексоголика тут – вагон любви. И Нико тоже меня не особенно любит.

Любовь – это романтика. А речь идет не о романтике, речь идет просто об очередной благоприятной возможности. Когда каждый вечер две дюжины сексоголиков собираются за одним столом – в этом нет ничего удивительного.

Плюс еще книжки с советами, как излечиться от секс-зависимости, которые здесь продают. Просто кладезь бесценных советов на тему: сто и один способ, как вы мечтали потрахаться, но не знали – как. Разумеется, все они пишутся для того, чтобы помочь тебе осознать, что ты – секс-джанки. Обычно приводится список «если вы делаете что-то из перечисленного ниже, то вы скорее всего сексоголик». Среди этих полезных подсказок:

Вы прорезаете дырки на плавках или трусах купальника, так чтобы были видны гениталии?

Вы заходите в прозрачную телефонную будку с расстегнутой ширинкой или блузкой и притворяетесь, что говорите по телефону, и при этом стоите так, чтобы прохожие видели ваше белье?

Вы бегаєте на улице без бюстгалтера или без плотного облегающего белья, чтобы привлечь сексуальных партнеров?

Мои ответы на все вопросы: Раньше – нет, но теперь – да.

Тем более что здесь, если ты извращенец – это не твоя вина. Сексуальная мания и вызывающее сексуальное поведение – это не обязательно совать каждой встречной свой член, чтобы она тебе отсосала. Это болезнь. Это физическая зависимость, которую скоро должны внести в «Справочник статистической диагностики» под определенным кодом, и лечение будет входить в медицинскую страховку.

Вот один интересный факт: даже Билл Уилсон, основатель Общества анонимных алкоголиков, не сумел преодолеть своей тяги к сексу на стороне и всю свою трезвую жизнь изменял жене и мучился осознанием вины.

Вот одна интересная гипотеза: секс-зависимые люди действительно подсаживаются на гормоны, которые вырабатываются в организме под действием постоянного секса. При оргазме в гипоталамической области головного мозга вырабатываются эндорфины, белковые гормоны, которые снимают боль и действуют как естественные транквилизаторы. На самом деле сексоголикам нужен не секс – им нужны эндорфины. У секс-зависимых от рождения занижен естественный уровень моноаминоксидазы. На самом деле им нужен пептид фенилэтиламин, который вырабатывается в моменты опасности, страстной влюбленности, риска и страха.

Для сексуально зависимых чей-то член, сиськи, задница, клитор, язык – это как доза героина. Всегда под рукой, всегда готовая к употреблению. Мы с Нико любим друг друга, как джанки любит свою дозу.

Нико резко опускается вниз, так что мой причиндал бьется о переднюю стенку ее влагалища. Она облизывает два пальца и трет себе клитор.

– А что, если войдет уборщица? – говорю я.

– Было бы здорово, – говорит Нико. – Это так возбуждает.

Я представляю себе, как от наших с ней упражнений на навощенном кафеле останется сияющее пятно. Я смотрю на ряд раковин. Лампы дневного света мигают, и на хромированных трубах под каждой раковиной – отражение Нико. Ее длинная шея, запрокинутая голова. Глаза закрыты. Дыхание сбивчивое и неровное. Ее пышная грудь, обтянутая тканью в цветочек. Кончик языка торчит изо рта. Ее секреты – обжигающе горячие.

Чтобы не кончить так сразу, я говорю:

– А ты рассказала про нас родителям?

И Нико говорит:

– Они хотят с тобой познакомиться.

Я думаю, что бы сказать еще, но это не важно. Сойдет что угодно. Клизмы, животные, оргии, любая грязная непристойность – здесь никого ничем не удивишь.

В комнате 234 идет сравнение воинских подвигов. Все говорят по очереди. Это – первая часть собрания. Вроде как разогревочная.

Потом ведущий прочитает отрывок из какой-нибудь книжки, и начнется обсуждение сегодняшней темы. Каждый из них работает над одной из двенадцати ступеней. Первая ступень – признать, что ты абсолютно беспомощен. Что ты – законченный сексоголик и уже не можешь остановиться. Вторая ступень – рассказать про свою зависимость, во всех неприглядных и стыдных подробностях. Не утаивая ничего.

Сексуальная озабоченность – та же самая наркомания. Ты вроде как понимаешь, что это плохо. И даже пытаешься завязать. Но потом все равно срываешься. Всякий подавленный импульс рано или поздно прорвется. Пока не нашлось ничего, за что можно бороться, можно бороться и против чего-то. Все эти люди, которые бьют себя пяткой в грудь и кричат, что хотят избавиться от своих нездоровых позывов к сексу, – вы их не слушайте. Я имею в виду: что может быть лучше, чем секс?!

Даже самый дурацкий и неумелый минет – это все равно лучше, чем, скажем, понюхать прекрасную розу... или увидеть невообразимый закат. Или услышать радостный детский смех.

Я уверен, что даже самое лучшее, самое проникновенное стихотворение все равно не сравнится с пьянящим, горячим, взрывным оргазмом.

Писать картины, сочинять оперы – надо же чем-то заняться, пока тебе не подвернется очередная особа противоположного пола, которая тоже очень даже не прочь.

Если вы вдруг обнаружите что-то, что лучше, чем секс, сразу звоните мне. Или пишите на пейджер.

Все эти люди, которые сейчас собрались в комнате 234, – они не Ромео, не Казановы и не Дон Жуаны. Не Саломеи и не Маты Хари. Это самые обыкновенные

люди. Не красавцы и не уроды. Вы с ними видите каждый день. Живые легенды, которые ездят с вами в одном лифте. Которые подают вам кофе. Эти мифологические существа проверяют у вас билеты в общественном транспорте. Обналичивают ваши щеки. Преподносят святое причастие.

На полу в женском сортире, под Нико, я кладу руки за голову.

Сейчас у меня нет проблем. То есть вообще никаких. Ни матери. Ни счетов из больницы. Ни дерьмовой работы в музее. Ни лучшего друга-придурка. Ничего.

Я ничего не чувствую.

Чтобы продлить это блаженное забытие, чтобы не кончить прямо сейчас, я говорю Нико, какая она красивая, какая сладкая и как она мне нужна. Ее кожа и волосы. Чтобы продлить удовольствие. Потому что, когда все закончится, я уже не скажу ничего подобного. Когда все закончится, мы с ней сразу же возненавидим друг друга. Когда мы очнемся – замерзшие, потные – на полу в женском сортире, когда мы получим свои оргазмы, нам не захочется даже смотреть друг на друга.

Мы сразу же возненавидим друг друга.

А еще больше – себя.

Только в эти мгновения я могу быть человеческим.

Только в эти мгновения я не чувствую себя одиноким.

Нико скачет на мне вверх-вниз. Она говорит:

– Так когда ты меня познакомишь с мамой?

И я говорю:

– Никогда. То есть это в принципе невозможно.

И Нико говорит, вся истекая горячими соками:

- Она что, в тюрьме? Или в психушке?

Ага. Сколько я себя помню.

Верный способ обломать мужика с оргазмом - заговорить о его маме во время секса.

И Нико говорит:

- Или она умерла?

И я говорю:

- Ну, почти.

Глава 3

Теперь, когда я прихожу навестить маму, я даже и не притворяюсь, что я - это я.

Черт, я даже не притворяюсь, что я себя знаю.

Раньше - да, теперь - нет.

Теперь у мамы одно занятие: она худеет. От нее почти ничего не осталось. Она такая худая - как кукла-марионетка. Как какой-нибудь монстр-дистрофик из фильма ужасов. Ее желтой кожи уже не хватает на то, чтобы вместить человека внутри. Ее тонкие кукольные ручки всегда лежат поверх одеяла и щиплют шерстинки. Ее ссохшаяся голова угрожает рассыпаться в пыль вокруг соломинки для питья у нее во рту. Когда я прихожу к ней как я - то есть, как Виктор Манчини, ее сын Виктор, - эти визиты не длятся и десяти минут. Она почти сразу звонит, вызывает дежурную медсестру. А мне говорит, что устала.

Но однажды она почему-то решает, что я – Фред Хастингс, государственный защитник, который несколько раз защищал ее на суде.[4 - Государственный защитник – адвокат, назначаемый судом в случае бедности подсудимого.]

Она вся сияет, увидев меня, и откидывается на подушки и говорит, покачивая головой:

– О Фред. – Она говорит: – Да, на этих коробках с краской были мои отпечатки пальцев. Я согласна, что это было рискованно и опрометчиво, но согласись – это была замечательная социополитическая акция.

Я говорю, что на видеозаписи с камеры в магазине это выглядело иначе.

Плюс еще – обвинение в киднепинге. Все записано на видео.

Она смеется – на самом деле смеется – и говорит:

– Фред, ты очень сглупил, когда взялся меня защищать.

Она говорила еще полчаса. В основном про тот неправильно понятый инцидент с краской для волос. Потом попросила меня принести ей газету из комнаты отдыха.

В коридоре стоит женщина-врач. В белом халате и с папкой в руках – то есть даже не с папкой, а с такой дощечкой с зажимом, который держит бумагу. У нее длинные темные волосы, собранные на затылке в пучок. Она не накрашена, так что кожа у нее на лице выглядит как просто кожа. В нагрудном кармане халата – очки в черной оправе.

– Вы – лечащий врач миссис Манчини? – задаю я вопрос.

Женщина-врач смотрит в свои бумаги. Потом достает очки, надевает их, смотрит еще раз. При этом она повторяет себе под нос:

– Миссис Манчини, миссис Манчини, миссис Манчини...

Одной рукой она держит дощечку, второй рукой – щелкает шариковой ручкой с убирающимся стержнем.

Я говорю:

– Она по-прежнему теряет вес?

Кожа пробора у доктора в волосах, кожа у нее за ушами – такая чистая, белая. Наверное, и в других местах, где нет загара, она такая же. Если бы женщины знали, на какие мысли наводят мужчин их уши – крепкие мясистые краешки, тень под складочкой наверху, плавные контуры, уводящие по спирали к тесной тугой темноте внутри, – большинство женщин носили бы такие прически, чтобы их закрывать. В смысле – уши.

– Миссис Манчини, – говорит женщина-врач, – необходимо поставить зонд для искусственного кормления. Она чувствует голод, но она забыла, что это чувство означает. Поэтому она и не ест.

Я говорю:

– И сколько такой зонд будет стоить?

– Пейдж? – зовет медсестра из другого конца коридора.

Женщина-врач пристально смотрит на меня – я в коротких штанах и сюртуке, в напудренном парике, чулках и туфлях с огромными пряжками – и говорит:

– И кого вы из себя разыгрываете?

Медсестра зовет:

– Мисс Маршалл?

Я мог бы ей рассказать про свою работу, но это займет много времени.

– Я, как бы это сказать, оплот колониальной Америки первых лет.

- То есть? – уточняет она.

- Слуга-ирландец.

Она просто смотрит на меня, потом кивает. Опускает глаза на свои бумаги.

- Либо мы ставим ей зонд, – говорит она, – либо она умирает от голода.

Я смотрю в темное потайное местечко у нее в ухе и говорю: может быть, есть еще какие-то варианты?

Медсестра в дальнем конце коридора кричит, уперев руки в боки:

- Мисс Маршалл?

Доктор морщится. Поднимает вверх указательный палец, прерывая меня на полуслове, и говорит:

- Послушайте, сейчас мне надо закончить обход. Давайте мы поговорим, когда вы приедете в следующий раз.

Она идет в тот конец коридора, где ее ждет медсестра, и говорит на ходу:

- Сестра Гильман. – Она говорит быстро-быстро, так что слова натываются друг на друга. – Вы могли бы по крайней мере проявить уважение и называть меня доктор Маршалл. Тем более перед посетителем. Тем более если вы собрались кричать через весь коридор. Не такая уж и большая любезность, правда, сестра Гильман, но мне кажется, я заслуживаю уважительного к себе отношения, и еще мне кажется, что если вы сами начнете вести себя профессионально, то вам сразу же станет проще работать в коллективе...

Когда я возвращаюсь с газетой, мама уже спит. Ее жуткие желтые руки сложены на груди. На запястье – больничный браслет. Запаянная полоска пластмассы.

Как только Денни наклоняется, его парик падает в грязь. Две сотни японских туристов хохочут. Кое-кто подбирается ближе, чтобы снять его бритую черепушку на видеокамеру.

Я говорю:

– Извини, – и подбираю парик. Он уже далеко не белый и изрядно попахивает. Что, впрочем, и неудивительно – вся площадь записана псами и буквально тонет в курином дерьме.

Поскольку Денни стоит, скорчившись в три погибели, галстук болтается у него перед носом и закрывает обзор.

– Слушай, друг, – говорит Денни. – Ты мне рассказывай, что происходит, а то ни хрена не видно.

Вот он я – оплот колониальной Америки первых лет.

Чего только люди не делают ради денег.

На краю городской площади стоит лорд-губернатор колонии, достопочтенный Чарли. Стоит, наблюдает за нами. Руки скрещены на груди, ноги расставлены футов на десять. Молочницы деловито снуют по площади с ведрами молока. Сапожники, как и положено, тачают сапоги. Кузнец стучит молотом по наковальне, на которой – все тот же кусок металла. Он, как и все остальные, упорно делает вид, что не смотрит на Денни, который опять угодил в колодки – у позорного столба в центре площади.

– Поймали меня, я жвачку жевал, – говорит Денни, обращаясь к моим ногам.

Он стоит согнувшись, и у него текут сопли. Он шмыгает носом.

– На этот раз, – говорит он и шмыгает носом, – лорд-губернатор точно выступит на городском совете. Насчет меня.

Я опускаю верхнюю деревянную половину колодок – осторожно, чтобы не прищемить ему шею.

– Прости, приятель, – говорю я, – она, зараза, холодная.

Потом запираю колодки на висячий замок и достаю из кармана носовой платок.

У Денни с носа свисает сопля – прозрачная капелька. Я подношу ему к носу платок и говорю:

– Сморкайся.

Денни сморкается. Я чувствую, как его сопля хлюпают в платке.

Платок весь липкий и жутко грязный, но я не могу предложить Денни чистую одноразовую салфетку – иначе я буду следующим на очереди, кто подвергнется дисциплинарному наказанию. Здесь каждая мелочь может стать крупным проколом.

На его бритой макушке кто-то вывел ярко-красным фломастером: «Отсоси у меня», – так что я встряхиваю его грязный вонючий парик и кое-как надеваю его, чтобы закрыть неприличную надпись. Только парик весь промок, и коричневая жижа течет по лицу Денни и капает у него с носа.

– Теперь меня точно выгонят, – говорит он и шмыгает носом.

Ему холодно, он весь дрожит.

– Слушай, друг, – говорит он, – что-то мне в спину дует. Посмотри там, ага? Кажется, у меня рубаха выбилась из штанов.

Ага, выбилась. И штаны слегка приспустились. Так что туристы уже снимают его полуголую задницу со всех ракурсов. Лорд-губернатор таращится на все это выпученными глазами, а туристы снимают, как я беру Денни за пояс и подтягиваю ему штаны.

Денни говорит:

– Что хорошо, когда постоянно торчишь в колодках, – говорит он, – что я уже три недели держусь. – Он говорит: – Так я хотя бы не бегаю каждые полчаса в сортир, чтобы там втихаря подрочить.

И я говорю:

– Ты осторожнее, друг. Такое вынужденное воздержание – тоже плохо. Взорвешься когда-нибудь, и абзац.

Я беру его левую руку и запираю ее в колодках. Потом правую. Денни почти все лето простоял в колодках. У него на запястьях и вокруг шеи – полосы белой незагорелой кожи.

– В понедельник, – говорит он, – я забыл снять часы и так и пришел.

Парик снова падает в грязь. Галстук, залитый соплями, болтается у него перед носом и бьет по лицу. Японцы смеются, как будто мы с Денни даем представление – заранее отрепетированный номер.

Лорд-губернатор следит за нами на предмет выявления исторически неуместного поведения, чтобы поставить вопрос на городском совете об изгнании нас с Денни из города. Нас просто выведут за городские ворота и бросят там, беззащитных и безработных, на растерзание дикарям-индейцам.

– Во вторник, – говорит Денни, обращаясь к моим ногам, – губернатор заметил, что у меня на губах бальзам. А у меня губы потрескались, вот я и намазал с утра.

Каждый раз, когда я поднимаю этот дурацкий парик, он становится все тяжелее. На этот раз я стучу им о ногу, чтобы выбить хотя бы часть воды, и кое-как надеваю его на Денни.

– Сегодня утром, – говорит Денни и шмыгает носом, – хозяйка Лэндсон застучала меня с сигаретой за молитвенным домом. И пока я стоял тут в колодках, какой-то мелкий debil сорвал с меня парик и написал у меня на башке эту гадость.

Я опять достаю платок и вытираю ему лицо.

Черные с белым цыплята – одноногие или безглазые, – цыплята-калеки снуют под ногами и пытаются клевать пряжки у меня на туфлях. Кузнец колотит огромным молотом по куску металла, два быстрых удара и три коротких, два быстрых и три коротких – узнаю этот ритм. Басовая партия к одной старой песне «Radiohead». Кажется, он совсем головой повернулся на своем экстази.

Я вижу маленькую молочницу по имени Урсула и трясусь кулаком у себя над промежностью – международный жест для обозначения минета. Она густо краснеет под своим накрахмаленным белоснежным чепцом и украдкой показывает мне средний палец. После чего удаляется дрочить вымя какой-то счастливой коровы. Кстати, я точно знаю, что она дает городскому констеблю себя пощупать. Потому что однажды он дал мне понюхать палец.

Даже с такого расстояния, даже сквозь плотный дух конского навоза я чувствую запах травки, исходящий от нее густыми клубами.

Целый день взбивать масло, доить коров... уж кто-кто, а молочницы могут как следует отдрочить.

– Хозяйка Лэндсон – та еще сука, – говорю я Денни. – Святой отец мне говорил, что она заразила его генитальным герпесом.

Да, с девяти до пяти она – новая аристократка, янки голубых кровей, но все знают, что в колледже в Спрингберге ее перетрахала вся футбольная команда и что в колледже ее называли «Ламприни, беги подмойся».

На этот раз парик удерживается на месте. Лорд-губернатор прекращает на нас тарашиться и входит в здание Таможни. Туристы тоже расходятся – в поисках новых объектов для съемок. Начинается дождь.

– Слушай, друг, ты иди, – говорит Денни. – Ты ж не обязан со мной тут стоять.

Очередной мерзкий день в восемнадцатом веке.

Если ты носишь сережки, тебя отправляют в тюрьму. Красишь волосы? Пирсуешь нос? Пользуешься дезодорантом? Прямиком в тюрьму. Не лезь на «Старт!». Не копи дерьмо.[5 - Здесь: аллюзия на популярную игру «Монополия». – Примеч.

пер.]

Достопочтенный лорд-губернатор сажает Денни в колодки не меньше двух раз в неделю – за то, что Денни жует табак, душится одеколоном, бреет голову наголо.

В 1730-х никто не носил эспаньолок, выговаривает он Денни.

На что Денни ему отвечает:

– Может быть, настоящие крутые ребята как раз и носили.

И снова – в колодки.

Мы с Денни шутим, что наша дружба продолжается с 1734 года. Ни много ни мало. А познакомились мы на собрании сексоголиков. Денни показал мне объявление насчет работы, и мы вместе пошли на собеседование.

На собеседовании я спросил – просто ради любопытства, – есть ли у них уже городская шлюха.

Дедульки из городского совета тупо таращатся на меня. Шестеро старых хрычей в фальшивых париках – даже на собеседовании, где их не видели посетители. Вместо ручек у каждого – перья. В смысле – настоящие перья, из птиц. И они их обмакивают в чернила. Дедуля, сидевший в центре, лорд-губернатор, вздыхает. Откидывается в кресле и смотрит на меня поверх очков.

– В колонии Дансборо нет городской шлюхи, – торжественно объявляет он.

Тогда я спрашиваю:

– А городской сумасшедший есть?

Губернатор трясет головой, нету.

– А вор-карманник?

Нет.

– А палач?

Разумеется, нет.

Вот в чем проблема с музеями живой истории. Все самое интересное остается «за кадром». Сыпной тиф, например. Или опиум. Или алые буквы. Или сожжение ведьм.

– Мы вас предупреждаем, – говорит лорд-губернатор, – что ваш внешний вид и поведение должны полностью соответствовать данному периоду истории.

Меня взяли на должность слуги-ирландца. За шесть долларов в час – очень даже реалистично.

В мою первую неделю на новой работе здесь уволили девушку-молочницу – за то, что она напевала песню «Erasure», взбивая масло. Ну да. «Erasure» – это уже история, но все-таки не такая давняя. Даже древние «Beach Boys» – все равно недостаточно древние. Здесь считается, что эти дурацкие напудренные парики, короткие штаны и туфли с пряжками – это даже не ретро.

Лорд-губернатор запрещает татуировки. Если ты носишь кольцо в носу, перед работой его надо снимать. Жвачку жевать нельзя. Нельзя насвистывать песни «Битлов».

– Если кто выбивается из исторической достоверности, – говорит губернатор, – его наказывают.

Наказывают?

– Либо сразу увольняют, – говорит он, – либо сажают в колодки на два часа.

В колодки?

– На городской площади, – поясняет он.

Он имеет в виду принудительное наказание. Садизм. Извращенные игры и публичное унижение. Губернатор заставляет всех мужиков носить вязаные чулки и облегающие шерстяные штаны без белья внизу – это у него называется «историческая достоверность». Он сажает женщин в колодки – за покрашенные лаком ногти. Либо в колодки, либо тебя увольняют без выходного пособия. И с плохими рекомендациями. И уж конечно, никто не станет писать в своем резюме, что он был каким-то занюханным подмастерьем в мастерской по изготовлению свечей.

Для двадцатипятилетнего неженатого мужика в восемнадцатом веке было немного возможностей «хорошо устроиться». Ливрейный лакей. Подмастерье. Могильщик. Бондарь, знать бы еще, что за зверь такой. Чистильщик обуви. Трубочист. Фермер. Когда они называют городского глашатая, Денни тут же оживает:

– Во. Как раз для меня. Поорать – это я всегда.

Лорд-губернатор смотрит на Денни и говорит:

– А эти ваши очки, они вам нужны?

– Ну, чтобы видеть, – говорит Денни.

Я устроился на эту работу, потому что в жизни есть вещи похуже, чем работать вместе со своим лучшим другом.

Ну, типа как с лучшим другом.

На самом деле я думал, что все будет весело и забавно: что-то вроде театрального действия, где мы – актеры. Я не ожидал этого дремучего мракобесия. Этого пуританского лицемерия.

Если бы городские старейшины из совета знали, что госпожа Плейн, швея, крепко сидит на игле. Мельник балуется метедрином. Хозяин гостиницы потихоньку толкает кислоту скучающим школьникам, которых водят сюда на экскурсии. Они сосредоточенно наблюдают, как госпожа Халлоуэй чешет шерсть и прядет, попутно читая им лекцию о размножении овец и жуя лепешку с

гашишем. Все эти люди – гончар на метадоне, стеклодув на перкодане, серебряных дел мастер на викодине, – они нашли свое место под солнцем. Помощник конюха прячет наушники плеера под треуголкой, дергается под свой личный рейв. Целое сборище перегоревших хиппи при своих аграрных заморочках. Но это лишь так – наблюдения со стороны.

Даже фермер Релдон втихаря выращивает травку на краю кукурузного поля, у мусорной свалки. Только он называет ее пенькой.[б - Пенька – грубое прядильное волокно, которое изготавливают из стеблей конопли.]

Единственное, что здесь и вправду прикольно, в нашей колонии Дансборо, это именно историческая достоверность. Но совсем в другом смысле. Вся эта толпа неудачников и полоумных психов, которые прячутся здесь потому, что не умеют справляться в реальном мире и не способны к нормальной работе, – разве не по этой причине отцы-пилигримы покинули Англию? Чтобы создать свою собственную, альтернативную реальность. Отцы-пилигримы – те же чокнутые своей эпохи. Не вписавшиеся во время. Только теперешние неудачники – те, с которыми я работаю, – не хотят просто верить в Господню любовь, они пытаются обрести спасение посредством навязчиво-маниакального антиобщественного поведения.

Или посредством невинных игрушек во власть и унижение ближнего. Вот он, достопочтенный лорд-губернатор, спрятался за кружевной занавеской. Какой-нибудь несостоявшийся бесталанный актер. А здесь он – власть и закон. Смотрит на площадь – кто там сегодня в колодках, – рассеянно глядя пса рукой в белой перчатке. Об этом не пишут в учебниках по истории, но в поселениях колонистов, если тебя оставляли в колодках на ночь, любой мог тебе вставить. Подойти сзади, и – опа. И ты даже не видел, кто там тебе заправляет. Мужиков это тоже касается, кстати. Собственно, это была истинная причина, почему никому не хотелось оказаться в колодках. Ну разве что кто-нибудь из родни или друзей оставался с тобой на всю ночь. Берег твою задницу. В буквальном смысле.

– Слушай, друг, – говорит Денни, – у меня снова штаны сползают.

Я их снова подтягиваю.

Рубашка Денни, намокшая от дождя, липнет к спине, так что видны позвонки и лопатки. Белые-белые, даже белее, чем небеленый хлопок. Жидкая грязь заливается в его деревянные башмаки. Хотя я в плаще и шляпе, я тоже промок насквозь. Все хозяйство в штанах скукожилось и жутко чешется, потому что намокшая шерсть кусается. Даже цыплята-калеки расползлись кто куда – где посуше.

– Друг, – говорит Денни и шмыгает носом, – ты иди. Ты не должен торчать тут со мной.

Насколько я помню физическую диагностику, бледность Денни может означать дисфункцию печени.

Смотри также: лейкомию.

Смотри также: отек легких.

Дождь идет все сильнее, небо плотно затянуто тучами. На улице так темно, что в домах зажигают лампы. Из труб валит дым. Туристы набились в таверну – пьют австралийский эль из оловянных кружек, сделанных в Индонезии. В мебельной мастерской краснодеревщик на пару с кузнецом нюхают клей из бумажных пакетов. Может, к ним присоединится и повивальная бабка, и они снова будут болтать о том, что надо бы сколотить рок-группу. Такая у них мечта, которая никогда не воплотится.

Мы все – в ловушке. В застывшем времени. Здесь всегда 1734 год. Мы заперты в герметично запаянной временной капсуле – как эти ребята из телешоу, которые потерпели крушение и живут на необитаемом острове вот уже десять лет, и при этом они не стареют и не пытаются оттуда уплыть. Просто с каждым сезоном на них все больше и больше грима. Это шоу в своем роде тоже, наверное, исторически достоверно. Даже жуть берет, как достоверно.

И еще жуть берет, когда я представляю, что простою так вот всю жизнь. Кстати, такое вполне может быть. Есть в этом некое странное утешение – когда мы с Денни на пару ругаем одно и то же паскудство. Всегда. Насовсем. В вечной программе реабилитации. Да, я буду стоять рядом с ним, но, чтобы уже до конца соблюсти историческую достоверность, признаюсь, что, по мне, лучше, чтобы он сидел в колодках, чем если его прогонят из города, то есть уволят, и я останусь

один.

Не то чтобы я очень хороший друг. Я скорее заботливый врач, который сам, по собственному почину, выправляет вам позвонки раз в неделю.

Или дилер, который толкает вам героин.

«Паразит» – не совсем верное слово, но это первое, что приходит на ум.

Парик Денни опять плюхается на землю. «Отсоси у меня» расплывается под дождем, размытая красная краска похожа на кровь – течет по его синим холодным ушам, по глазам, по щекам. Капает в грязь.

Кроме дождя, ничего не слышно. Только как капли стучат по лужам, по соломенным крышам, по мне и по Денни. Водяная эрозия.

Не то чтобы я очень хороший друг. Я скорее спаситель, которому нужно, чтобы его почитали и обожали.

Денни снова чихает. Желтоватые сопли летят во все стороны, в частности – на почти утонувший в грязи парик. Денни говорит:

– Слушай, ты больше не надевай на меня эту тряпку, ага? – и шмыгает носом. Потом кашляет, и очки падают в грязь.

Сгущенные выделения из носа означают краснуху.

Смотри также: коклюш.

Смотри также: пневмония.

Его очки напомнили мне про доктора Маршалл, и я говорю, что познакомился с новой девушкой, она настоящий врач и, вообще, ее стоит трахнуть.

И Денни говорит:

- Ты все еще бьешься над своей четвертой ступенью? Помочь не надо? В смысле
- напомнить о славных подвигах?

Детальная и безжалостная история моей сексуальной зависимости. Полная опись моих грехов. Каждый срыв, каждый проступок, каждая гадость.

И я говорю:

- Во всем следует проявлять умеренность. Даже в выздоровлении.

Не то чтобы я очень хороший друг. Я скорее родитель, которому очень не хочется, чтобы его чадо взрослело.

И Денни говорит, глядя в землю:

- Очень полезно бывает вспомнить свой первый раз. Для всего. - Он говорит: - Когда я дрочил в первый раз, у меня было такое чувство, как будто я это изобрел. Я смотрел на свои влажные руки и думал: Во, теперь я разбогатею.

Первый раз для всего. Неполный список моих преступлений. Еще одна незавершенность в моей безалаберной жизни, которая сплошь - одни незавершенности.

И Денни - по-прежнему глядя вниз и не видя ничего, кроме грязи, - говорит:

- Ты еще тут?

И я опять подношу ему к носу платок и говорю:

- Сморкайся.

Свет на снимках был слишком резким, так что тени фигур на бетонной стене получились какими-то чересчур темными. Самая обыкновенная стена в каком-то подвале. У обезьяны – усталый вид. Шерсть – вся в проплешинах от чесотки. У парня вид тоже больной: кожа бледная, лишний жирок на талии. Он стоит раком, задницей к зрителю, опираясь руками о согнутые колени, – причиндал уныло свисает, – и улыбается в камеру, обернувшись через плечо.

«Блаженная улыбка» – не совсем верное слово, но это первое, что приходит на ум.

Больше всего в порнографии мальчику нравился даже не секс. Не изображения красивых людей, которые трахаются друг с другом: головы запрокинуты как бы в экстазе, на лицах – фальшивые предоргазменные гримасы. Во всяком случае, поначалу. Он разглядывал эти картинки в Интернете, когда еще даже не знал, что такое секс. Сейчас в каждой библиотеке есть комп с выходом в Интернет. В каждой школе.

Точно так же, как в каждом городе, куда мальчика отправляли к приемным родителям, был католический собор, где проходили одни и те же воскресные мессы, там был и Интернет. Интернет привлекал больше. Все дело в том, что если бы Иисус смеялся на кресте, или плевал на макушки римлянам, или делал еще что-нибудь, кроме как молча страдать, Церковь – и все с нею связанное – нравилась бы мальчику больше. Гораздо больше.

И его любимый веб-сайт был вовсе не эротичным, во всяком случае – для него. Там было около дюжины фотографий коренастого парня с вечно унылым лицом, в костюме Тарзана, и с дрессированным орангутангом, который совал парню в задницу какие-то шарики, с виду похожие на жареные каштаны.

Набедренная повязка «под леопарда» сдвинута в сторону, резинка врезается в талию, где уже обозначился лишний жирок.

Обезьяна готова впиндюрить ему очередной каштан.

В этом нет ничего сексуального. И тем не менее, судя по счетчику посещений, эту картинку ходили смотреть более полумиллиона человек.

«Паломничество» – не совсем верное слово, но это первое, что приходит на ум.

Ребенок не понимал, что означают каштаны и обезьяна, но парень в костюме Тарзана вызывал у него что-то похожее на восхищение. Мальчик был глупым, но ему все же хватало ума понять, что он сам никогда не решится на что-то подобное. На самом деле, большинство людей постеснялись бы даже раздеться перед обезьяной. Им было бы стыдно показать свою голую задницу обезьяне, как будто обезьяна что-то понимает в человеческих задницах. Большинству из людей не хватило бы мужества просто встать раком перед обезьяной – не говоря уж о том, чтобы встать раком перед обезьяной, когда тебя фотографируют, – но даже если бы кто-то решился, то все равно он сначала бы посетил парикмахерскую и солярий и подкачался бы в тренажерном зале. После чего он бы еще долго тренировался перед зеркалом, как бы поэлегантнее встать раком и найти самый выгодный ракурс.

А уж дать обезьяне засунуть каштан себе в задницу – на это способны считанные единицы.

И есть еще одно обстоятельство. Страшно даже представить, что ты можешь вдруг не понравиться обезьяне. Что она не захочет иметь с тобой дела. Человеку можно заплатить денег – за деньги он вставит тебе в задний проход что угодно и сфотографирует тебя в любой позе. Но обезьяна – другое дело. Ее не подкупишь деньгами. Звери – они всегда искренние и честные.

Твоя единственная надежда – подписать конкретно этого орангутанга, потому что он, очевидно, не самый разборчивый. Либо его исключительно хорошо выдрессировали.

Все дело в том, что глупый маленький мальчик вряд ли запал бы на снимок, если бы там все было красиво и сексапильно.

Все дело в том, что в этом мире, где каждый обязан выглядеть безупречно и симпатично, этот парень не выглядел симпатично. И обезьяна тоже не выглядела симпатичной. И то, чем они занимались.

Все дело в том, что в порнографии мальчика привлекал не секс. Его привлекало совсем другое. Уверенность в себе. Мужество. Полное отсутствие стыда. Предельная честность. Способность вот так вот, без всяких дурацких комплексов, выставить себя напоказ и открыто сказать всему миру: Да, именно этим я и занимаюсь в часы досуга. Позирую перед камерой, когда обезьяна сует

мне каштаны в задницу.

И мне плевать, как я выгляжу. Или что вы по этому поводу думаете.

Не нравится – не смотрите.

Давая себя поиметь, он тем самым имел целый мир.

Но даже если ему и не нравился этот процесс с каштанами, способность изображать довольную улыбку – это само по себе достойно всяческого восхищения.

Так же, как и любой порнофильм подразумевает, что за пределами обзора камеры обязательно присутствуют какие-то люди, которые невозмутимо вяжут, или жуют бутерброды, или посматривают на часы, пока актеры занимаются сексом – жестким порносексом – буквально тут же. На расстоянии в два-три шага...

Для глупого маленького человечка это было великое откровение. Стать таким же спокойным, таким же уверенным в себе – это была бы нирвана.

«Свобода» – не совсем верное слово, но это первое, что приходит на ум.

Ему так хотелось, глупенькому малышу, стать таким же уверенным. Когда-нибудь.

Если бы это он снялся на фотографиях с обезьяной, он бы смотрел на них каждый день. Смотрел бы и думал: Если я смог это сделать, я смогу сделать все. Не важно, что на тебя навалится – если ты способен улыбаться, когда обезьяна запихивает тебе в задницу жареные каштаны, в бетонном подвале, под объективом фотоаппарата, тебя ничто уже не испугает.

Даже ад.

Для глупого маленького человечка это было великое откровение...

Что, если тебя увидит достаточное количество людей, тебе уже не придется страдать без внимания.

Что, если однажды тебя захватят врасплох и выставят напоказ, тебе уже никогда не спрятаться. Тогда не будет уже никакой разницы между общественной и личной жизнью.

Что, если ты сможешь иметь достаточно, тебе не захочется большего.

Что, если ты приобретешь и достигнешь, тебе уже не захочется приобретать сверх того, что есть.

Если ты высыпаешься и нормально ешь, большего и не нужно.

Если есть люди, которые тебя любят, тебе не нужно еще любви.

Когда-нибудь ты станешь взрослым и умным.

И будешь заниматься сексом – столько, сколько захочется.

Теперь у мальчика появилась цель. Иллюзия на всю оставшуюся жизнь. Обещание чего-то большего – перспективы, которые он разглядел в улыбке толстого парня на снимках.

И после этого каждый раз, когда ему было грустно, страшно или одиноко, каждый раз, когда он просыпался ночью в доме новых приемных родителей, в мокрой постели, с бешено бьющимся сердцем, каждый раз, когда ему приходилось идти в новую школу, каждый раз, когда мама его находила и приезжала за ним, в каждом сыром и промозгом номере в очередном отеле, в каждой новой, взятой напрокат машине, – мальчик вспоминал о тех двенадцати снимках, где толстый парень подставлял задницу обезьяне. Вспоминал и сразу же успокаивался. Потому что он видел, глупый маленький засранец, каким храбрым, сильным и счастливым может быть человек.

Что пытка есть пытка, а унижение есть унижение, только если ты сам выбираешь, что будешь страдать.

«Спаситель» – не совсем верное слово, но это первое, что приходит на ум.

И вот что забавно: если кто-то спасает тебя, первый порыв – тоже кого-нибудь спасти. Всех и каждого.

Маленький мальчик не знал имени того парня на снимках. Но его улыбка запомнилась на всю жизнь.

«Герой» – не совсем верное слово, но это первое, что приходит на ум.

Глава 6

Когда в следующий раз я прихожу к маме в больницу, я по-прежнему – Фред Хастингс, ее давний государственный защитник, и все это время, пока я с ней, она болтает без умолку. Потом я ей говорю, что я еще не женат, и она говорит, что это не дело. Потом она включает телевизор, какую-то мыльную оперу, ну, вы знаете... когда настоящие люди притворяются ненастоящими, с их надуманными проблемами, и настоящие люди все это смотрят и переживают надуманные проблемы ненастоящих людей, чтобы забыть о своих настоящих проблемах.

В следующий раз я по-прежнему Фред, но уже женатый и с тремя детьми. Это уже лучше, но трое детей... Трое – это уже слишком. Надо двоих, и хватит, говорит она.

В следующий раз у меня двое детей.

И с каждым разом от мамы остается все меньше и меньше.

Высохшая куколка под одеялом.

Но с другой стороны, и на стуле рядом с больничной койкой – с каждым разом все меньше и меньше Виктора Манчини.

В следующий раз я – снова я, и уже через пару минут мама звонит, вызывает сестру, чтобы она меня проводила до выхода. Мы оба молчим, но когда я беру пальто, она вдруг говорит:

– Виктор?

Она говорит:

– Я должна тебе что-то сказать.

Она долго катает в пальцах шерстинку, выдернутую из одеяла, а потом поднимает глаза и говорит:

– Тут ко мне приходил Фред Хастингс. Ты помнишь Фреда?

Да, помню.

Сейчас он женат, у него двое детей. Так приятно, говорит мама, что у хороших людей все получается.

– Я ему посоветовала купить землю, – говорит мама, – теперь они совершенно об этом не думают.

Я уточняю, кто такие «они», и она снова звонит, чтобы вызвать сестру.

Я выхожу в коридор и вижу доктора Маршалл. Она стоит прямо у двери в мамину палату, просматривает свои записи. Она поднимает глаза. За стеклами очков глаза кажутся очень большими. Она смотрит на меня; щелкает шариковой ручкой с убирающимся стержнем.

Она говорит:

– Мистер Манчини? – Она снимает очки, убирает в нагрудный карман халата и говорит: – Нам следует обсудить, как нам быть с вашей мамой.

Зонд для искусственного кормления.

- Вы спрашивали, есть ли еще какие-то варианты.

Три медсестры за стойкой дежурных внимательно наблюдают за нами. Одна из них - ее зовут Дина - кричит:

- Вас проводить?

И доктор Маршалл говорит:

- Занимайтесь, пожалуйста, своим делом.

Мне она шепчет:

- Эти молоденькие медсестры, они ведут себя так, словно они еще в школе.

Дину я трахнул.

Смотри также: Клер, дипломированная медсестра.

Смотри также: Перл, сертификат Ассоциации медицинских сестер Калифорнии.

Магия секса заключается в том, что это приобретение без бремени обладания. Не важно, скольких девушек ты приводил домой, проблема с хранением и складированием отсутствует.

Я говорю доктору Маршалл, ее сексуальным ушам и нервным рукам:

- Я не хочу, чтобы ее кормили насильно.

Медсестры по-прежнему наблюдают за нами. Доктор Маршалл берет меня под руку и отводит подальше от их поста. Она говорит:

- Я беседовала с вашей мамой. Замечательная женщина. Все ее политические акции. Все ее демонстрации. Вы, наверное, ее обожаете, вашу маму.

И я говорю:

– Ну, я бы не стал так далеко заходить.

Мы останавливаемся, и доктор Маршалл что-то шепчет. Так тихо, что я вынужден пододвинуться к ней поближе, чтобы расслышать. Совсем-совсем близко. Медсестры по-прежнему наблюдают. Она говорит, дыша мне в грудь:

– А что, если мы сможем полностью восстановить ее умственные способности? – Она щелкает шариковой ручкой с убирающимся стержнем и говорит: – Чтобы она стала такой, как прежде: умной, сильной и энергичной женщиной.

Моя мама. Такая, как прежде.

– Такое возможно, – говорит доктор Маршалл.

И я говорю не задумываясь:

– Боже упаси.

И тут же поспешно добавляю, что это, может быть, не очень удачная мысль.

Сестры на посту смеются, прикрывая ладошками рты. И даже с такого немалого расстояния я слышу, как Дина говорит:

– Так ему и надо!

Когда в следующий раз я прихожу к маме, я снова – Фред Хастингс, и у моих детей в школе одни пятерки. На этой неделе миссис Хастингс решила покрасить стены столовой в зеленый.

– Лучше в синий, – говорит мама, – в комнате, где едят, стены должны быть синие.

Теперь наша столовая синяя. Мы живем на Ист-Пайн-стрит. Мы католики. Деньги храним в Первом Городском банке. Ездим на «крайслере».

Все – по совету мамы.

Я начинаю записывать все детали, чтобы не забывать, кто я и что. В отпуск Хастингсы ездят на озеро Робсон, пишу я себе в блокнот. Там мы ловим лососей. Болеем за «Паскерс» всей семьей. Не едим устриц. Сейчас решаем вопрос с покупкой земли. Каждую субботу, когда я прихожу к маме, я сначала внимательно перечитываю свои записи.

Когда я прихожу к ней как Фред Хастингс, она тут же выключает свой телевизор.

Самшиты у дома – это хорошо, говорит она мне, но бирючина была бы лучше.

Я все это записываю.

Хорошие люди пьют только скотч, говорит она. Чистят водопровод в октябре, а потом еще раз – в ноябре. Оборачивают туалетной бумагой воздушный фильтр в автомобиле, чтобы он служил дольше. Подрезают хвойные деревья только после первых морозов. Пользуются для растопки золой.

Я все записываю. Делаю опись того, что осталось от мамы. Пятна на коже, морщины, сыпь, шелушение. Я пишу себе памятки.

Каждый день: мазаться солнцезащитным кремом.

Закрашивать седину.

Не сходить с ума.

Есть меньше сахара и жиров.

Делать больше приседаний.

Не забывать всякие мелочи.

Подрезать волосы в ушах.

Принимать кальций.

Увлажнять кожу. Каждый день.

Остановить время, чтобы всегда оставаться таким же.

Чтобы не стареть.

Она говорит:

- Помните моего сына Виктора? Вы о нем ничего не слышали?

Я замираю. У меня щемит сердце. Хотя я давно забыл, что означает это ощущение.

Виктор, говорит мама, никогда не приходит меня навестить, а если приходит, он меня никогда не слушает. Он вечно занят своими проблемами, и ему на меня наплевать. Он бросил институт - медицинский - и живет черт-те как.

Она отрывает шерстинку от одеяла.

- Он работает то ли гидом в турфирме, то ли еще кем и получает гроши, - говорит она. Вздыхает и берет пульт своей ужасной желтой рукой.

Я говорю: разве Виктор о ней не заботится? Разве у него нету права жить своей собственной жизнью? Я говорю, может быть, Виктор такой занятой, потому что он убивается каждый вечер - убивается в буквальном смысле, - чтобы оплачивать ее пребывание в этой клинике. Три тысячи в месяц. Может быть, он поэтому бросил институт. Я говорю, просто из духа противоречия, что, может быть, Виктор делает для нее все, что может.

И даже больше.

И мама улыбается и говорит:

- О Фред, вы по-прежнему рьяно бросаетесь на защиту безнадежно виновных.

Мама включает телевизор. На экране красивая молодая женщина в роскошном вечернем платье бьет другую красивую молодую женщину бутылкой по голове. Удар даже прическу ей не испортил, но наградил амнезией.

Может быть, Виктор пытается разрешить свои собственные проблемы, говорю я.

Первая красивая женщина убеждает красивую женщину с амнезией, что она – робот-убийца и должна подчиняться ее приказам. Робот-убийца с такой готовностью принимает свою новую роль, что это наводит на мысль, уж не притворяется ли она, что у нее напрочь отшибло память. Может, она всю жизнь только об этом и мечтала: дать волю своим инстинктам убийцы, и вот теперь у нее появилась такая возможность.

Мы с мамой сидим – смотрим телик. Моя обида и ярость постепенно проходят.

Раньше мама делала мне яичницу с темными хлопьями – ошметками непригорающего покрытия на сковороде. Она готовила в алюминиевых кастрюльках; лимонад мы пили из покореженных алюминиевых кружек с мягкими и холодными краешками. Мы пользовались дезодорантами с солями алюминия. Так что вовсе не удивительно, что в итоге мы стали такими, какими стали.

Во время рекламы мама опять заводит разговор про Виктора. Интересно, а как он проводит свободное время? И что с ним будет через год? Через месяц? Через неделю?

Я понятия не имею.

– И что вы имели в виду, – говорит мама, – когда сказали, что он убивается каждый вечер?

Глава 7

Когда официант уходит, я подцепляю на вилку половину бифштекса и запихиваю его в рот, целиком. И Денни говорит:

– Нет, друг. Только не здесь.

Это хороший ресторан. Люди в нарядной одежде. Свечи, хрусталь. Столовые приборы с дополнительными вилками и ножами для специальных блюд. Люди едят. Никто ни о чем не подозревает.

Я пытаюсь запихать в рот половину бифштекса. Мясо истекает соленым соком и жиром, приправленным молотым перцем. Я убираю язык подальше, чтобы освободить больше места под мясо. Слюни и мясной сок уже стекают по подбородку.

Люди, которые утверждают, что бифштекс с кровью – верная смерть, они не знают и половины всего.

Денни нервно оглядывается по сторонам и цедит сквозь зубы:

– Ты становишься жадным, дружище. – Он качает головой. – Обманом любви не получишь.

За столиком рядом с нами – пожилая женатая пара с обручальными кольцами. Они едят и одновременно читают одинаковые программки – какой-то пьесы или концерта. Когда в бокале у женщины заканчивается вино, она сама доликает себе из бутылки. Мужу она не наливает. У мужа на руке – массивные золотые часы.

Денни видит, что я наблюдаю за ними, и говорит:

– Я им все расскажу. Клянусь.

Он высматривает официантов, которые могут нас знать – знать, что я затеваю. Он злобно таращится на меня.

Кусок бифштекса такой большой, что я не могу сомкнуть челюсти. Мои щеки надулись и оттопырились. Рот болит от напряжения, когда я пытаюсь жевать. Дышать приходится через нос.

Официанты все в черных жилетах, через руку у каждого перекинута ослепительно белое полотенце. Играет тихая музыка. Скрипка. Серебро и фарфор. Обычно мы не проворачиваем этот трюк в подобных местах, но рестораны уже кончаются. Сколько бы ни было в городе ресторанов, их число все равно ограничено, а мое представление – не из тех, которое можно повторять дважды в одном и том же месте.

Я отпиваю глоток вина.

За другим столиком рядом с нами – молодая пара. Они едят, держась за руки.

Может быть, это будут они. Сегодня.

За третьим столиком рядом – мужчина в костюме. Ест, глядя в пространство перед собой.

Может, сегодня он станет героем.

Я отпиваю еще вина и пытаюсь его проглотить, но во рту просто нет места. Бифштекс застревает в горле. Я уже не дышу.

В следующую секунду ноги судорожно дергаются, и я сползаю со стула. Хватаюсь руками за горло. Я уже на ногах – смотрю на расписанный потолок. Глаза закатились. Нижняя челюсть вышла вперед.

Денни подцепляет брокколи у меня с тарелки и говорит:

– Дружище, ты переигрываешь.

Может быть, это будет восемнадцатилетний помощник официанта или парень в вельветовых брюках и свитере с высоким воротом – для кого-то из этих людей я стану сокровищем. На всю оставшуюся жизнь.

Люди уже начали вставать с мест.

Может быть, эта женщина в корсаже.

Может быть, этот мужчина в очках в тонкой оправе.

В этом месяце я получил уже три открытки с днем рождения, хотя не прошло еще и половины месяца. В прошлом месяце было четыре открытки. В позапрошлом – шесть. Я даже не помню большинство из этих людей. Но они меня помнят, Боже их благослови.

Мне нечем дышать, вены на шее вздулись. Лицо наливается кровью. На лбу выступает испарина. На спине на рубашке расплывается пятно пота. Я сжимаю шею руками – международный жест, означающий: я задыхаюсь. Некоторые из тех, от кого я получаю открытки, даже не говорят по-английски.

В первые пару секунд все ждут, что кто-то другой ломанется вперед и станет героем.

Денни берет у меня с тарелки оставшуюся половину бифштекса.

По-прежнему сжимая руками горло, я пинаю его по ноге.

Делаю вид, что пытаюсь сорвать галстук.

Судорожно расстегиваю воротник.

И Денни говорит:

– Эй, мне же больно.

Помощник официанта испуганно пятится. Он никакой не герой.

Скрипач и распорядитель по винам уже мчатся ко мне, голова в голову.

С другого конца зала ко мне пробивается женщина в черном коротком платье. Спешит на помощь.

Мужчина сбрасывает смокинг и тоже несется ко мне. Где-то истошно кричит женщина.

Обычно все происходит очень быстро. Минуту, две – максимум. Что не может не радовать: я спокойно могу не дышать около двух минут, но не больше.

Если б я мог выбирать спасителя, из практических соображений я бы выбрал пожилого мужчину с золотыми часами – он наверняка заплатил бы по нашему счету. Но из личных симпатий я бы выбрал женщину в черном коротком платье – у нее роскошная грудь.

Но даже если нам придется расплачиваться самим... для того, чтобы получить деньги, надо деньги сначала вложить.

Денни невозмутимо жует мой бифштекс. Он говорит:

– То, что ты делаешь... это так инфантильно.

Я снова пинаю его по ноге.

То, что я делаю: я возвращаю в людскую жизнь приключение.

То, что я делаю: я даю людям возможность проявить героизм. Я их испытываю.

Какая мама, такой и сыночек.

Яблочко от яблони...

То, что я делаю: я добываю деньги.

Если кто-то спасет тебе жизнь, он будет любить тебя вечно. В Древнем Китае был даже закон: если кто-то спас тебе жизнь, он за тебя в ответе – навсегда. Как будто ты его родной сын. Или дочь. Эти люди будут писать мне всю жизнь. Присылать мне открытки на годовщину. Поздравления с днем рождения. Странно, что стольким людям приходит в голову одна и та же мысль. Как-то оно даже удручает. Они звонят тебе по телефону. Чтобы справиться о твоём здоровье и настроении. А то вдруг тебе сейчас необходима дружеская поддержка. Или материальная помощь.

Не поймите меня неправильно. Я не трачу деньги на девочек по вызову. Мамино пребывание в больнице Святого Антония стоит около трех штук в месяц. Эти добрые самаритяне поддерживают меня, как могут. Я поддерживаю ее. Вот и все.

Притворяясь слабым, ты получаешь власть над людьми. По сравнению с тобой они себя чувствуют сильными. Давая людям спасти себя, ты тем самым спасаешь их.

Все, что нужно, – это быть слабым, ранимым и благодарным. Поэтому оставайся всегда неудачником.

Людам необходимо, чтобы рядом был кто-то, кто ниже их – чтобы почувствовать свое превосходство. Поэтому оставайся всегда подавленным, униженным и оскорбленным.

Людам необходимо, чтобы рядом был кто-то, кому можно послать чек на Рождество. Поэтому оставайся бедным.

«Благотворительность» – не совсем верное слово, но это первое, что приходит на ум.

Ты – доказательство их силы и мужества. Ты – доказательство, что они герои. Живое свидетельство их успеха. То, что я делаю, я делаю потому, что каждому хочется спасти чью-то жизнь на глазах у восторженной публики.

Денни что-то рисует на белой скатерти кончиком ножа – план какой-то комнаты, карнизы и панели, сломанные фронтоны над каждой дверью, – продолжая при этом жевать. Потом подносит тарелку к губам и сгребает в рот остатки салата.

Для того чтобы сделать трахеотомию, нужно найти впадинку прямо под кадыком и чуть выше перстневидного хряща. Острым ножом сделать полудюймовый горизонтальный надрез и засунуть в него палец, чтобы надрез приоткрылся. Вставить «трахейную трубку»: лучше всего – соломинку для питья или половинку перьевой ручки.

Если я не могу быть великим врачом, который спас жизни сотен пациентов, я могу быть великим пациентом для сотен будущих врачей.

Мужчина в смокинге уже совсем близко. У него в руках – нож и шариковая ручка.

Твое удушье станет легендой для этих людей – историей, которую они будут рассказывать родственникам и знакомым до конца своих дней. Они будут считать, что спасли тебе жизнь. Может, ты станешь единственным добрым поступком, который потом, в смертный час, оправдывает их существование на этой земле.

Поэтому будь агрессивной жертвой, законченным неудачником.
Профессиональным неудачником.

Дай человеку почувствовать себя богом, и он ради тебя сиганет через горящий обруч.

Мученичество святого Меня.

Денни перекладывает к себе на тарелку гарнир с моей.

Он продолжает есть.

Распорядитель по винам. Женщина в черном коротком платье. Мужчина с массивными золотыми часами.

Еще секунда – и кто-то обхватит меня сзади обеими руками. Крепко-крепко. Кто-то, пока еще незнакомый, надавит мне кулаками под ребра и выдохнет мне прямо в ухо:

– Все будет в порядке.

Он выдохнет тебе прямо в ухо:

– Все будет хорошо.

Он встряхнет тебя, может быть, приподнимет над полом и скажет:

- Дыши! Дыши, черт возьми!

Кто-то будет стучать тебя по спине, как врач стучит по спине новорожденного младенца, а потом у тебя изо рта вылетит кусок недожеванного мяса, и вы оба – и ты, и твой пока еще незнакомый спаситель – рухнете на пол. Ты будешь рыдать, и кто-то скажет тебе, что все обошлось. Что теперь все нормально. Ты живой. Тебя спасли. От верной смерти спасли. Потому что ты правда едва не умер. Кто-то прижмет к груди твою голову и будет качать тебя, как ребенка и скажет:

- Ну чего вы стоите? Расходитесь уже. Цирк закончен.

Теперь ты для него – как ребенок.

Теперь ты его ребенок, и он за тебя в ответе.

Он поднесет тебе ко рту стакан воды и скажет:

- Вы успокойтесь. Теперь все хорошо.

Вы успокойтесь.

И потом этот человек, который тебя спасет, будет писать тебе и звонить. Слать открытки и, может быть, чеки.

Кто бы он ни был, он будет тебя любить.

Он будет так гордиться тобой. Может быть, даже больше, чем твои родители. Он будет гордиться тобой, потому что ты дал ему повод гордиться собой.

Ты отпьешь воды и закашляешься – только для того, чтобы твой спаситель вытер тебе подбородок салфеткой.

Делай все, чтобы скрепить эту новую связь. Это усыновление. Не забудь про детали. Испачкай соплями одежду спасителя, чтобы он засмеялся и простил тебя. Вцепись ему в руку и не отпускай. Плачь, чтобы он мог утереть тебе слезы.

Плакать – это нормально, если слезы ненастоящие.

Не сдерживай своих порывов. Для кого-нибудь твое спасение станет лучшей историей в жизни.

И вот самое главное: если тебе не хочется заиметь уродливый шрам на горле, начинай дышать прежде, чем до тебя доберется кто-нибудь с острым режущим предметом – столовым ножом, перочинным ножом, ножом для бумаги.

И еще одна деталь: когда ты будешь выплевывать свое мясо, постарайся попасть им в Денни. У Денни есть мама и папа, дедушки-бабушки, тети-дяди и до жопы двоюродных братьев-сестер, которые, если вдруг что случится, спасут его от любой беды. Вот почему Денни никогда меня не поймет.

А все остальные, кто это видел – они иногда аплодируют. Или плачут от облегчения. Даже повара выходят из кухни. Не пройдет и пяти минут, как эту историю будут знать все в ресторане. Все бросятся ставить выпивку герою. Их глаза будут сиять от слез.

Все захотят пожать руку герою.

Или похлопать его по спине.

Так что это не только твой день рождения, это и его день рождения тоже – твоего спасителя. Однако именно он будет слать тебе поздравительные открытки. Из года в год. Он станет еще одним членом твоей очень обширной семьи.

А Денни лишь покачает головой и попросит меню десертов.

То, что я делаю, я делаю не только для себя. Я творю звездный час для какого-нибудь решительного незнакомца. Я спасаю людей от скуки. Так что это не только ради денег. Не только, чтобы привлечь внимание.

Но внимание и деньги – тоже никогда не лишнее.

Это так просто. Тебе даже не надо казаться хорошим – но ты все равно побеждаешь. Всего-то и надо, что показать, какой ты слабый, униженный, сломленный. Всего-то и надо, что постоянно твердить окружающим: Простите меня. Простите. Простите. Простите. Простите...

Глава 8

Ева катит за мной по коридору. Ее карманы набиты жареной индейкой. В тапочках – пережеванные куски бифштекса. Ее лицо – корка бархатной пудры на сморщенной коже. Все морщины как будто сходятся ко рту. Она катит за мной на своей инвалидной коляске и говорит:

– Не убегай от меня, эй, ты.

Ее руки – в плетении вздутых вен. Горбясь в своей инвалидной коляске, раздуваясь от злости или, может быть, от тоски, она катит за мной и говорит:

– Ты сделал мне больно.

Она говорит:

– И не вздумай это отрицать.

На ней – передник наподобие детского слюнявчика.

Она говорит:

– Ты сделал мне больно, и я пожалуюсь маме.

В больнице, где лежит моя мама, все пациенты носят браслеты. Только это не украшение. Это – полоска из толстого пластика, которая запаивается на руке, так что ее не снимешь. Его не срежешь, этот браслет. И не расплавишь его

сигаретой. Многие пытались – но у них ничего не вышло.

В этот браслет вмонтирована какая-то магнитная пластина, которая испускает электронный сигнал, и замки на дверях, что выходят на лестницу, и на дверцах лифтов автоматически запираются – на расстоянии примерно в четыре фута. Так что тебе не выйти со своего этажа. Не выйти на улицу. Можно ходить в зимний сад, в столовую, в комнату отдыха и в часовню, но больше – никуда.

Если тебе все же удастся как-то сбежать со своего этажа, браслет поднимет тревогу.

Это больница Святого Антония. Ковры, шторы, кровати, белье – почти все сделано из несгораемых материалов. Почти все поверхности – водоотталкивающие. Можно делать везде, что угодно, – любая грязь убирается в считанные секунды. Зря я вам это рассказываю. В смысле – так можно испортить сюрприз. Скоро вы все узнаете сами. Если доживете.

Или решите поторопить события.

Моя мама, Ева и вы, кстати, тоже – на каждого из нас рано или поздно надевают браслет.

Здесь все красиво и чисто. Здесь не пахнет лекарствами и мочой. Ну еще бы – за три штуки в месяц! В прошлом веке здесь был монастырь, и монахини разбили чудесный розовый сад, который до сих пор сохранился. Замечательный сад за высокой каменной стеной. Сбежать невозможно.

Повсюду – камеры наблюдения.

Как только тыходишь в здание, к тебе устремляется медленный и жутковатый поток пациентов. В инвалидных колясках, на костылях, в ходунках. Они видят, что кто-то пришел, и ползут к тебе.

Высокая и свирепая миссис Новак – раздевальщица.

Женщина в палате, соседней с маминной, – белка.

Раздевальщики, как их тут называют, это такие люди, которые раздеваются при всяком удобном и неудобном случае. Их здесь одевают в такие костюмы, которые смотрятся как рубашка и брюки, но на самом деле это комбинезоны. Рубашка пришита к поясу брюк. Пуговицы на рубашке и молния на брюках – это все бутафория. Снять такой комбинезон можно, лишь расстегнув молнию на спине. Поскольку почти все здешние пациенты – старые люди, ограниченные в движениях, то раздевальщики, даже агрессивные раздевальщики, заперты трижды. В своих комбинезонах, в браслетах, в больнице.

Белки – это такие люди, которые пережевывают пищу, а потом забывают, что с ней делать дальше. Они забывают, что пищу надо глотать. Они выплевывают пережеванные куски и прячут их по карманам. Или убирают к себе в сумочку. На самом деле это не так симпатично и мило, как это звучит.

Миссис Новак лежит в той же палате, где мама. Белка – это Ева.

В больнице Святого Антония первый этаж – для пациентов, которые забывают, как их зовут, бегают голышом и прячут в карманах пережеванную пищу, но в остальном ведут себя вполне адекватно. Здесь также лежат молодые люди, спекшиеся на наркотиках или с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. Они самостоятельно передвигаются и разговаривают, пусть даже их разговоры – сплошная словесная каша, беспорядочный набор слов.

– Люди-финики в дороге на маленьком рассвете выпекая веревки пурпурная дымка ушла, – примерно так.

Второй этаж – для лежачих больных. Третий этаж – для больных при смерти.

Сейчас мама на первом, но здесь никто не задерживается навсегда.

Сейчас я расскажу, как Ева попала сюда, в больницу. Может быть, это дико звучит, но есть люди, которые просто бросают своих престарелых, впавших в маразм родителей – без документов, без всего, – в каком-нибудь общественном месте, где их, по идее, должны подобрать и определить в приют. Все эти старые Эрмы и Дороти, которые понятия не имеют, кто они и где они. Вроде как мусор, выставленный на улицу для уборки. А уж о вывозе мусора должны позаботиться городские власти.

Точно так же люди бросают на улицах старые «убитые» машины, предварительно сняв номерные знаки. Когда им лень самим увезти их на свалку.

Это называется утилизация бабушек – без шуток. И больница Святого Антония – дорогой платный госпиталь – обязана принимать определенное количество таких вот утилизированных бабушек, и бездомных девчонок, свихнувшихся на экстази, и полоумных бомжих со склонностью к суициду. Только здесь их не называют бомжихами, а уличных девок не называют девками и проститутками. Я так думаю, что Еву просто выкинули из машины, чуть ли не на ходу, и при этом не пролили ни единой слезинки. Ну, как выкидывают домашних животных, которые упорно гадят на ковер.

Ева по-прежнему не отстает. Я захожу к маме в палату, но ее нет на месте. Пустая кровать. Промятый матрас с расплывшимся мокрым пятном мочи. Должно быть, маму повели в душ. Медсестры водят пациентов в душевую в конце коридора, где их поливают из шланга – вот такое мытье.

Здесь, в больнице Святого Антония, каждую пятницу пациентам показывают кино «Пикник в пижаме», и каждую пятницу те же самые пациенты набиваются в видеозал, чтобы посмотреть фильм в первый раз.

У них есть чем заняться. Рукоделие, бинго.

И еще у них есть доктор Пейдж Маршалл. Куда она, кстати, запропастилась?

У них есть несгораемые передники, которые закрывают все тело от подбородка до ступней, так что, если ты куришь, ты не подожжешь на себе одежду. У них есть плакаты Нормана Рокуэлла. Два раза в неделю сюда приходит парикмахер. За дополнительную плату. За все надо платить дополнительно. За недержание мочи. За химчистку. За катетеры. За зонд для искусственного кормления.

Каждый день пациентам дают уроки, как завязывать шнурки на ботинках, как застегивать пуговицы и пряжки. Как застегивать и расстегивать застёжки-липучки. Как застегивать и расстегивать молнию. Каждое утро медсестра говорит пациенту, как его зовут. Друзей, которые знают друг друга уже лет шестьдесят, знакомят заново. Каждое утро.

Здесь – бывшие врачи, адвокаты, руководители, которые уже не в состоянии самостоятельно застегнуть молнию. Тут дело не в обучении. Тут дело в технике безопасности. С тем же успехом можно пытаться покрасить горящий дом.

Здесь, в больнице Святого Антония, вторник означает бифштекс. Среда – курица с грибами. Четверг – спагетти. Пятница – запеченная рыба. Суббота – говядина с кукурузой. Воскресенье – жареная индейка.

Здесь есть чем заняться и как убить время. Картинки-паззлы из тысячи частей. Здесь нет ни единой кровати, на которой бы умерло меньше дюжины человек.

Ева остановилась в своей инвалидной коляске у двери в мамину палату. Сидит, тарачится на меня. Увядшая, бледная – как древняя мумия, которую распеленали и кое-как завили и уложили ее жиденькие волосенки. Ее голова в голубых кудряшках постоянно трясется.

– Не подходи ко мне, – говорит Ева всякий раз, когда я смотрю в ее сторону. – Доктор Маршалл меня защитит. Она не даст меня обижать.

Я сижу на маминой кровати и жду, когда ее приведут обратно.

У мамы в палате стоят часы, которые бьют каждый час. Только вместо обычного звона – голоса разных птиц. Записанные на пленку. Час – это странствующий дрозд. Шесть часов – иволга.

Полдень – вьюрок.

Буроголовая гаичка – это восемь часов. Черноголовый поползень – одиннадцать.

Ну, в общем, вы поняли.

Проблема в том, что когда определенная птица ассоциируется с определенным часом, это очень сбивает. Особенно где-нибудь на природе. Всякий раз, когда рядом слышится звонкая трель воробьиной овсянки, ты думаешь про себя: что, уже десять часов?!

Ева въезжает в мамину палату передними колесами своей коляски.

- Ты сделал мне больно, - говорит она. - Но я не сказала маме.

Старичье. Человеческие огрызки.

Уже полчаса как пропела хохлатая синица, а мне надо успеть на работу до голубой сойки.

Ева считает, что я ее старший брат, который пялил ее лет этак сто назад. Мамина соседка по комнате, миссис Новак с ее жуткой отвисшей грудью необъятных размеров и большими, отвисшими же ушами, считает, что я - ее давний партнер по бизнесу, прожженный мерзавец, который украл у нее то ли волокноотделитель, то ли хорошую перьевую ручку.

Для этих женщин я - это кто-то другой.

- Ты сделал мне больно, - говорит Ева и подъезжает чуть ближе. - И я этого не забыла.

Каждый раз, когда я сюда прихожу, какая-то старая вешалка с лохматыми бровями - ее палата в конце коридора - называет меня Эйхманном. Другая старуха с катетером - прозрачная трубка вечно видна у нее из-под халата - бросается на меня с обвинениями, что я украл у нее собаку, и требует вернуть животное. Каждый раз, когда я прохожу мимо старушки в розовом свитере, в инвалидном кресле, она смотрит на меня одним затуманенным глазом и говорит:

- Я тебе видела. В ночь пожара. Ты был с ними.

Здесь ты бессилен. Я так думаю, что любой мужчина, появившийся в жизни Евы, так или иначе был для нее старшим братом. Сама того не сознавая, она всю жизнь подсознательно ожидала, что ее будут трахать - все мужики без исключения. Сейчас она уже старая, сморщенная, усохшая - но она все равно остается восьмилетней девочкой. Она застряла во времени. Для нее время остановилось. Как и в колонии Дансборо с ее штатом законченных неудачников, обиженных жизнью, все пациенты Святого Антония заперты в своем прошлом.

Я - не исключение, и вы, я думаю, тоже.

Заперты, как Денни в колодках. Остановились в развитии, как Ева.

– Ты, – говорит Ева, тыча в меня дрожащим пальцем. – Ты сделал больно моей пи-пи.

Старики, застрявшие в прошлом.

– Ты говорил, что это такая игра, – говорит она, качая головой. – Что это будет наш с тобой секрет. А потом ты засунул в меня свою штуку. – Ее тонкий высохший палец тычется в воздух, указывая на мою промежность.

На самом деле при одной только мысли об этом моя «штука» враз увядает.

Проблема в том, что здесь, в больнице Святого Антония, у каждой из пациенток есть ко мне свои претензии. Тут есть одна высохшая старушенция, которая убеждена, что я взял у нее взаймы пятьсот долларов и до сих пор не отдал. Другая старая перечница называет меня дьяволом.

– И ты сделал мне больно, – говорит Ева.

Когда я сюда прихожу, вина за все преступления в мировой истории валится на меня. Так и хочется заорать в их беззубые сморщенные физиономии. Да, это я похитил ребенка Линдберга.

Это я потопил «Титаник».

Это я убил Кеннеди.

Это я начал Вторую мировую войну. Я изобрел атомную бомбу.

Вирус СПИДа? Прошу прощения, моих рук дело.

Лучший способ справиться с такими, как Ева, – переключить их внимание на что-то другое. Надо их как-то отвлечь: заговорить о погоде, или о том, что сегодня было на обед, или о том, как им идет эта прическа.

Можно предположить, что именно так мужчины, которые знали Еву, справлялись с ее враждебностью. Отвлекали ее. Не пытались ничего доказать. Избегали любых конфронтаций. Уходили и не возвращались.

Большинство людей именно так и живут. Смотрят телевизор. Курят дурь. Накачиваются лекарствами. Отвлекают себя всеми возможными способами. Отрекаются. Уходят.

Она вся подается вперед, палец, направленный на меня, дрожит.

Да ебись все конем.

Ей жить-то осталось – всего ничего.

И я говорю:

– Да, Ева. Я тебя пялил при всяком удобном случае, – говорю я и зеваю. – Только и думал о том, как бы засунуть в тебя свою штуку.

Это называется психодрама. Но с тем же успехом это можно назвать еще одним способом утилизации бабушек.

Она опускает руку и откидывается на спинку своей инвалидной коляски.

– Наконец-то ты это признал, – говорит она.

– Ну да, – говорю я. – Ты, сестренка, такая вся аппетитная, где уж тут устоять.

Она смотрит на темное пятно на линолеуме и говорит:

– Он все же признался. После стольких лет.

Это называется терапия при помощи ролевых игр, но Ева не знает, что все это – понарошку.

Она поднимает глаза и смотрит на меня:

– И тебе не стыдно?

Ну, я так думаю, если Иисус умер за мои грехи, я в состоянии взять на себя пару-тройку чужих грехов. Каждому выпадает возможность побыть козлом отпущения. Принять на себя вину.

Мученичество святого Меня.

Чужие грехи лежат у меня на плечах тяжким грузом.

– Ева, – говорю я. – Сестренка, солнышко, красавица, любовь всей моей жизни, конечно, мне стыдно. Я был такой скотиной, – говорю я и смотрю на часы. – Просто ты так меня возбуждала, что я терял голову.

Как будто мне больше всех надо. Ева таращится на меня своими выпученными гипертиреозными глазами, и одинокая слезинка стекает по ее напудренной сморщенной щеке.

Я смотрю в потолок и говорю:

– Ладно, я сделал больно твоей пи-пи, но это было восемьдесят лет назад. Так что забудь об этом и живи дальше.

Она закрывает лицо руками – своими жуткими руками, похожими на скрюченные древесные корни или на высохшие морковки.

– О Колин, – бормочет она. – О Колин.

Потом она убирает руки, и ее щеки мокры от слез.

– О Колин, – шепчет она. – Я прощаю тебя. – Она роняет голову на грудь, и шмыгает носом, и пытается вытереть слезы краешком своего слюнявчика.

Потом мы просто сидим и молчим. Даже жвачку не пожуешь – нет у меня жвачки. Я снова смотрю на часы. Без двадцати пяти час.

Она вытирает глаза, шмыгает носом и поднимает голову.

- Колин, - говорит она. - Ты меня еще любишь?

Господи, как меня все достало.

Эти психованные старухи.

И кстати, если вам вдруг интересно, я - не чудовище в человеческом облике.

Я себя чувствую героем какой-то дурацкой книжки. Я говорю:

- Да, наверное. Да, Ева, наверное, я тебя до сих пор люблю.

Теперь Ева рыдает, сотрясаясь всем телом.

- Я так рада, так рада, - говорит она, и слезы текут в три ручья, и сопли из носа капают прямо ей на руки.

Она говорит:

- Я так рада, - но по-прежнему плачет, и я чувствую запах пережеванного бифштекса - у нее в туфлях. Запах курицы с грибами - у нее в кармане. И маму все еще не привели из душа, а к часу дня мне надо быть на работе - в восемнадцатом веке.

Сейчас я работаю над четвертой ступенью, но мне все трудней и трудней вспоминать свое прошлое. Теперь оно перемешалось с прошлым других людей. Я даже не могу вспомнить, кто я сегодня - который из адвокатов. Я сосредоточенно изучаю свои ногти. Потом спрашиваю у Евы:

- А доктор Маршалл сегодня здесь? Вы, кстати, не знаете, она замужем или нет?

Я даже не знаю, кто я на самом деле. Не знаю, кто мой отец. Мама, наверное, знает. Но не говорит.

Я спрашиваю у Евы:

– Может, вы где-нибудь в другом месте поплачете?

И вдруг выясняется, что я уже опоздал. В часах поет голубая сойка.

А Ева по-прежнему горько рыдает, раскачиваясь в своей инвалидной коляске. Пластиковый браслет дрожит у нее на руке. Она говорит:

– Я прощаю тебя, Колин. Я прощаю тебя. Я тебя прощаю. О Колин, я прощаю...

Глава 9

После обеда наш маленький глупенький мальчик и его приемная мама поехали за покупками в торговый центр и там услышали объявление. Был конец лета, и им нужно было купить все необходимое к школе. В том году мальчик как раз перешел в пятый класс. И ему нужно было много чего купить к школе. Полосатые рубашки, к примеру. Тогда все уважающие себя пятиклассники ходили в полосатых рубашках. Это было давным-давно. Еще с самой первой приемной мамой.

Полосатые рубашки в вертикальную полоску, как раз объяснял он ей, когда они услышали объявление.

Вот такое:

– Доктор Пол Вард, – произнес голос в динамиках, обращаясь ко всем покупателям в торговом центре, – ваша жена ждет вас в отделе косметики в «Вулворте».

Это было, когда мама вернулась за ним в первый раз.

– Доктор Пол Вард, ваша жена ждет вас в отделе косметики в «Вулворте».

Это был их тайный код.

Так что мальчик соврал и сказал, что ему надо в уборную, а сам пошел в «Вулворт», и там была его мама. Открывала коробки с краской для волос. На ней был желтый парик, и ее лицо в таком обрамлении казалось совсем-совсем крошечным, и от нее так и разило табаком. Она открывала картонные коробки и вытаскивала оттуда темно-коричневые бутылочки с краской для волос. Потом раскладывала их обратно по коробкам – только бутылочки были все перепутаны – и возвращала коробки на полку.

– Симпатичная девочка, – сказала мама, глядя на фотографию на коробке у себя в руках. Она положила в коробку бутылочку из другой коробки. Бутылочки были все одинаковые – из темно-коричневого стекла.

Открывая очередную коробку, мама спросила:

– Как ты считаешь, она симпатичная?

Мальчик был таким глупым, что даже не понял:

– Кто?

– Ты знаешь кто, – сказала мама. – И она совсем молоденькая. Я видела, как вы с ней выбирали одежду. Ты держал ее за руку, так что не ври.

Мальчик был таким глупым, что ему не хватило ума убежать. Ему даже в голову не приходило задуматься, почему мама три месяца просидела в тюрьме, почему ее освободили досрочно и почему его определили к приемным родителям.

И мама спросила, меняя местами бутылочки с краской: светлый блондин – в коробку из-под рыжей краски, черную краску – в коробку из-под светлого блондина:

– Она тебе нравится?

– Кто? Миссис Дженкинс? – говорит мальчик.

Мама поставила обе коробки на полку, даже не закрыв их как следует.

- Так она тебе нравится?

Как будто это поможет, наш маленький нытик и ябеда говорит:

- Она - всего лишь приемная мать.

И, не глядя на мальчика - глядя на фотографию женщины на коробке у себя в руках, - мама сказала:

- Я спросила: она тебе нравится?

К ним подошла светловолосая женщина с магазинной тележкой и взяла с полки коробку с фотографией блондинки, но с какой-то другой краской внутри. Женщина положила коробку к себе в тележку и пошла дальше.

- Она считает себя блондинкой, - сказала мама. - Но надо ломать представления людей о себе.

У мамы это называлось «косметический терроризм».

Маленький мальчик смотрел вслед женщине с тележкой, пока она не отошла совсем далеко - на то расстояние, когда уже ничего не поправишь.

- У тебя есть я, - сказала мама. - И как ты ее называешь, приемную мать?

- Миссис Дженкинс.

- И она тебе нравится? - спросила мама и посмотрела на мальчика. В первый раз за все это время.

И он притворился, что уже все для себя решил, и сказал:

- Нет?

- Ты ее любишь?

- Нет.

- Ты ее ненавидишь?

И этот маленький бесхребетный червяк сказал:

- Да?

И мама сказала:

- Ты все правильно понимаешь. - Она наклонилась к нему и посмотрела прямо в глаза и сказала: - Ты сильно ее ненавидишь, эту миссис Дженкинс?

И наш мелкий засранец сказал:

- Сильно-сильно?

- Сильно-сильно и еще в два раза сильнее, - сказала мама и протянула ему руку. - Пойдем. Нам надо успеть на поезд.

Крепко держа его за руку, она потащила его за собой по проходу - к выходу.

- Ты мой. Только мой. Навсегда. Помни об этом.

Когда они вышли на улицу, она сказала:

- Да, кстати. На всякий случай. Если когда-нибудь тебя спросят в полиции или вообще кто-нибудь спросит... сейчас я тебе расскажу про те гадости, которые эта так называемая приемная мать творила с тобой всякий раз, когда вы оставались одни.

В доме, где я сейчас живу, в старом маминим доме, я разбираю ее бумаги: ее институтские лекции и зачетки, ее банковские счета, ее протоколы и заявления. Стенограммы судебных процессов. Мамин дневник, запертый на замочек. Вся ее жизнь.

В следующий раз, когда я прихожу к маме в больницу, я – мистер Беннинг, адвокат, защищавший ее на суде по обвинению в киднепинге, как раз после случая со школьным автобусом. Еще через неделю я – Томас Уэлтон, которому удалось сократить ей срок тюремного заключения до полугода, когда ее признали виновной в нападении на животных в зоопарке. Еще через неделю я – адвокат по гражданским делам, который едва не свихнулся с ее делом о злоумышленно причиненном вреде, когда она учинила дебош на балете.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Корн-доги – corn dogs, сосиски в тесте, типа классических хот-догов, поверхность которых имеет специфичный рельеф, напоминающий по форме початок кукурузы. Отсюда и пошло название этого блюда. Corn в переводе с английского – кукуруза. – Здесь и далее примеч. пер.

2

Бенедикт Арнольд (1741–1801) – герой войны за независимость, американский генерал, ставший впоследствии предателем и изменником. В Америке его имя стало нарицательным именем изменника и предателя.

3

Гипотермия – общее охлаждение организма.

4

Государственный защитник – адвокат, назначаемый судом в случае бедности подсудимого.

5

Здесь: аллюзия на популярную игру «Монополия». – Примеч. пер.

6

Пенька – грубое прядильное волокно, которое изготавливают из стеблей конопли.

Купити: <https://tn.knigapoisk.com/chak-palanik/udushe-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)